



ЕЛЕНА  
БЛАГОВА

•  
*Аргентинское  
танго*



ЦЕНТРОБИТРАФ

# Елена Николаевна Крюкова

## Аргентинское танго

*Авторский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=171757](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171757)*

*Аргентинское танго: Центрполиграф; Москва; 2003*

*ISBN 5-9524-0180-5*

### Аннотация

В танце можно станцевать жизнь.

Особенно если танцовщица – пламенная испанка.

У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.

Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.

В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий – наемный убийца, который покорило сердце современной Кармен.

А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.

Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.

Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям – без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима...

Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое – жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной,

опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов – и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь – стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги – римейка бессмертного сюжета «Кармен».

# Содержание

ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ПЕРВЫЙ. МАЛАГЕНЬЯ	15
МАРИЯ	23
ИВАН	36
ПИРЕНЕИ	40
МАРИЯ	58
КИМ	62
ИВАН	83
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ВТОРОЙ. СЕГИДИЛЬЯ	104
КИМ МЕТЕЛИЦА	111
АРКАДИЙ	122
МАРИЯ	125
МАРИЯ	132
Конец ознакомительного фрагмента.	136

# Елена Благова

## Аргентинское танго

*Всем любящим и любимым*

*А бедра ее играли  
В том танце неутолимом,  
Как будто ножи блистали,  
Закатным огнем палимы.  
И, задыхаясь от страсти,  
От жизни, родной до дрожи,  
Ты понял: смерть – это счастье  
В объятьях, на свет похожих.*

*Габриэль Чавес*

Он прижал ее к себе сильнее. Она выгнула спину, застонала. Закинула ногу, согнув в колене, ему на напряженное, стрелой вытянувшееся бедро. Поглядела в его лицо. Правый глаз мужчины блестел живым и жадным блеском; левый – глядел мертво, ледяно, неподвижно. Он заломил ее локоть, крепко сжав в смуглых пальцах, ей за лопатку, за гибкую, как лоза, спину, и чуть не обжегся: так горяча, как пламя, бьющееся на ветру, была ее рука.

– Ты по-прежнему любишь меня?..

– Говори тише. Я слышу.

Он приблизил губы к ее вспыхнувшим губам. И рот ее как

огонь. О, рот-твой-огонь, я боюсь в нем утонуть и сгореть дотла. Дотла и навсегда.

– Я... – Она резко отклонилась назад. – Я так хочу... Ну, я же хочу... О, сделай так, чтобы...

– Тише. Я делаю все правильно. Не вцепляйся мне в плечо. Мне больно.

Прибой музыки шумел в ушах. Нет, это кровь. Это их горячая, безумная кровь говорит в них, кричит, ищет выхода.

Нет выхода. Нет выхода. Нет.

– Ты...

– Я...

– Молчи. Обними сильнее. Поверни меня. Вот так. Так.

Кровь пела свою дикую музыку. Выбивал железный, неумолимый ритм маленький барабанчик: там, та-та-та-там, та-та-та-там. Скрипки плакали и выли, как волки. Красота – это безумие, и, если ты им переболеешь, тебе уже не страшна смерть. Если тебя обнять еще крепче, хрустнут твои нежные косточки. Зачем женщина – не птица? Если бы она была птица, он сбил бы ее влет. И делу конец. А так – он вынужден держать ее в объятьях и подниматься, и опускаться над ней, и пристально, будто потерял его и нашел, глядеть в ее закинутое лицо. В ослепительный свет ее смуглого лица.

– Я же хочу... Ну, я же хочу...

– Ты замолчишь когда-нибудь?!

Музыка взвилась как флаг. Он закрыл ей рот поцелуем.

– Я так хочу ребенка от тебя!.. Я устала... Все время на

сцене... в танце... все время самолеты... поезда... концерты... контракты... ужас... я устала от ужаса сгорать, отдавать себя... я больше... не могу... быть...

– Прекрати!..

– ...танцовщицей...

Музыка гремела. Барабанчик гремел. Кастаньеты выбивали бешеную, резкую дробь. Виолончели стонали и жаловались то органно-гулко, то бархатно, вкрадчиво. Мужчина рванул женщину за руку, и она, слегка вскрикнув, упала ему, на грудь. Его губы невольно коснулись ее затылка, ее иссиня-черных, заколотых в тугую, плотную корзину на затылке, гладких кос.

– Ты идиотка!..

– Я... наконец... хочу...

Музыка вонзилась ей под ребро, как кинжал. Она забилась. Он крепко держал ее в руках, прижимая бедра к ее раздвинувшимся бедрам.

– ...родить...

– А умереть ты не хочешь?!..

– Умереть?..

И, когда музыка разливалась у ее ног подобьем красной реки, и она, цепляясь за его плечи, за руки, за локти, за маслено блестящую голую грудь, стала, в ярко-красном, похожем на пион, платье бессильно сползать к его напряженным, с выгнутыми, вздувшимися мускулами, затянутым в черное трико сильным ногам, – он, подхватив ее под мышки, на-

клонился к ней, и она запрокинула лицо и из последних сил улыбнулась ему, и алые оборки на ее юбке вздрогнули, будто живые, и опали: она умирала на сцене по-настоящему, как умирала всегда в этом танце, что он поставил для нее, только для нее одной.

И они не видели, как дрогнул и стал надвигаться, падать на них массивный занавес, закрывая от них беснующийся зал; они не слышали грома рукоплесканий, свиста и выкриков: «Браво!», не слышали, как музыканты стучат смычками о пюпитры, свидетельствуя им свое почтение; они не чувствовали ничего, кроме того, что вот – все – кончилось. Конец, облегчение, скорбь, выдох. Голова женщины повисла, склонилась на плечо. В слепящем белом свете жарких софитов тускло блестели ее гладко причесанные волосы цвета воронова крыла. Мужчина упал перед ней на колени. Прижался губами к ее виску. Держал ее обмякшее, обессиленное, потное, худощавое, легкое тело в руках со странным, смешанным чувством привычности, родства, усталости, отвращения, нежности.

Она не поднимала головы. Не открывала глаз.

Она была как мертвая.

– Мария, – шепнул он ей на ухо, задыхаясь. – Мара!..

Она не шевелилась.

Тогда он сжал ее в руках сильнее. Стиснул ее тело, ее хрупкие плечи до боли. Встряхнул. Отогнул ей голову, силится заглянуть ей под опущенные, с густо, тяжело накра-

шенными ресницами, намазанные синей краской веки.

– Мара, ты слышишь меня?!.. Эй... не пугай меня... И публику... Эй, Мария, прекрати дурить!.. Очнись, ну же!.. Сейчас занавес пойдет... Мара!..

И занавес пошел.

Он пошел вверх и вбок, снова показывая их народу, обнажая их сплетшиеся судьбы – для равнодушных зевак, для любопытствующих зрителей, для тех, кто купил билет на представление. На миг ему показалось: они – два скелета, и застыли, обнявшись, на дне могилы, и теперь их никто и никогда не разнимет, только разобьет их кости лопатой.

Он уже видел оркестрантов в яме. Он уже видел люстры под потолком зрительного зала, горящие, как сковородки, полные золотого жаркого. Он, стоя перед женщиной на коленях, по-прежнему держал ее, недвижимую, на руках, и по его нагому, красно-загорелому, маслянисто блестящему торсу тек пот, стекал между лопаток, по выпуклым пластинам груди. Он касался губами ее лба.

Губы первые поняли. Потом уже – разум.

Ее лоб был холодный. Слишком холодный.

Нет. Не может быть.

– Нет! – шепотом крикнул он. Поднял лицо. Ему в глаза ударил золотой свет, брызнувший от шевелящихся в медной сковородке люстры бесчисленных звезд. – Не может быть! Мара...

Он отогнул рукой ее лицо. Схватил ее подбородок в паль-

цы. Сжал.

– Мария... – У него кончилось дыхание. – Я согласен... Все будет, как ты хочешь... Как ты... хотела!..

Зал кричал: «Браво, браво, браво, Виторес!.. Ви-то-рес!.. И-о-анн!..» Люди вставали с кресел, хлопали в ладоши, поднимая руки над головой. Они оказывали высшую почесть артисту. Дирижер непонятливо, изумленно смотрел на них, застывших на дощатом полу сцены: что это ребята, мать их за ногу, так долго не поднимаются, не начинают номер на бис! Ведь публика так неистово, дико кричит: «Би-и-ис!»

Лысый плюгавенький барабанщик, исполнявший партию маленького барабанчика в болеро, вместо аплодисментов тупо, глухо бил палочками в белую кожу барабана.

«Би-и-и-и-ис!.. Виторе-е-ес!..»

– Ну же, – сказал мужчина ледяными губами, обернувшись к дирижеру, – ну же, ты, бездарный махальщик руками, начинай, это твоя работа, начинай, давай, шуруй, пусть музыканты врежут на все фортиссимо, возьмут внимание на себя... давай!..

И он кивнул дирижеру. И дирижер понял. И взмахнул палочкой. С кем не бывало на сцене плохо. Сцена – это такая плаха, что казнила многих. А публика не должна ничего понять. Пусть она думает, что эта мизансцена задумана и отрепетирована так, что от зубов отскакивает.

Музыка ворвалась и ударила в лица красным, золотым вихрем. Скрипки плясали в руках скрипачей. Трубы крича-

ли: «Скорей! Скорей!»

– «Скорую», – прошептал он, держа ее лицо в ладонях, – скорей...

Танец. Должен же быть танец. Он взял ее на руки. Поднялся, держа ее на руках. Поднял ее высоко, как мог.

Вихрь ослепительной боли. Стук раненого сердца. Размеренная поступь судьбы. Оркестр заиграл сарабанду.

Он танцевал с ней, недвижимой, сарабанду так, как если бы она могла двигаться и отвечать ему. Он торжественно поднимал ее ввысь. Опускал наземь. Баюкал, как ребенка. Молился ей. Гладил по волосам.

Она не шевелилась.

Музыка помогала ему. Но и музыка когда-нибудь кончилась.

Занавес упал снова. Рев оваций сгинул, потонул за слоями и складками бархата. Он вскочил, держа ее, бездыханную, судорожно ринулся с нею на руках за кулисы.

– Что с ней?..

Он оттолкнул сунувшегося под ноги помощника режиссера.

– Никто не должен знать, что с ней! «Скорую»! Быстро!

Пошагал по коридору. Из дверей артистических, из гримборных, из туалетов выскакивали любопытные, стреляли глазами, перешептывались; кто-то окликнул его – он огрызнулся, еще быстрее зашагал вперед.

Он шел с нею на руках, а его губы сами шептали, бормо-

тали, говорили: Мария, Мария, Мария, может быть, я что-то делал не так, я знаю, что я все делал не так, но ведь я мужчина, Мария, а ты женщина, зачем же ты сама все испортила, ты ведь не хотела так, Мария, не хотела, да?.. Только не уходи, не уходи, не уходи...

Он вбежал в их примерку. Сел на вертящийся черный стул. В зеркале он увидел свое осунувшееся, потное, скуластое, бледное лицо с запавшими щеками. Один глаз живой, другой мертвый. Однажды в мужском туалете, в Самарском аэропорту, он увидел надпись красным фломастером: «Иоанн – стеклянный глаз». Перед зеркалом валялась вчерашняя газета. «ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ». Россия. Они в России. Не в Америке, не в Венесуэле, не во Франции, не в Китае, не в Испании, не в Аргентине. Они в России, в Москве. В артистической нового концертного зала в Лужниках. И у него на руках бездыханная Мария Виторес, и ее лоб холоден как лед. И «скорая», как пить дать, прибудет через час. Это же Россия, Россия, Иван, неужели ты не понимаешь, Россия. Ты ведь знаешь свою Россию, мужик, как свои пять пальцев.

Как пять пальцев на маленькой смуглой ножке твоей Мары.

Он, не помня себя, не сознавая, что делает, взял ее холодную ногу в руки – и через прозрачное, телесного цвета трико крепко прижался губами к ее ступне.

Вбежавшие в примерную врачи, с черными чемоданчиками в руках, запыхавшиеся, напуганные, так и застигли его –

сидящего на вертящемся стуле у гримерного трюмо, целующего ногу потерявшей сознание танцовщицы.

– Что с ней?! Говорите быстро!

Он оторвался от нее. На его сухих губах, растянутых в странной гримасе, блуждала улыбка безумца. Врач с чемоданчиком в руке попятился.

– Смотрите, – медленно сказал он, – смотрите. Это я сделал с ней. Она просила меня. Умоляла. А я не хотел. Это я убил ее. Я. Я. Один я.

Подпрыгивающий за спинами сбившихся в кучку врачей его продюсер, Родион Станкевич, заверещал, как баба, замазал жирными руками:

– Не слушайте его!.. Не слушайте!.. Доктора, уважаемые, до-ро-гие, милые, пожалуйста, сделайте скорее свое дело!.. артистка умрет!.. может умереть...

– Она мертва, – твердо повторил мужчина, прижимая неподвижное тело к себе хищно, собственнически. – Говорю вам, она мертва! Не подходите!

– Что вы, – голос врача донесся до него как бы издалека, – погодите... Дайте осмотреть больную...

– Иоанн! – беспомощно, тонко, по-собачьи крикнул продюсер. – Ванька!.. Что ты мелешь!.. Ты спятил!..

Станкевич шагнул вперед. Мужчина вскочил, прижал женщину к груди.

– Я не дам вам ее. Можете не стараться. Отойдите! Я не отдам ее вам!

Иссиня-черная прядь выбилась из туго заколотых на затылке кос, скользнула вниз, на локоть мужчины, как черная змея.

# ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ПЕРВЫЙ. МАЛАГЕНЬЯ

Солнце тронуло вершины гор, их ножевые сколы, и они сначала засветились изнутри, потом вспыхнули, потом за сверкали розово-ярко, остро, победно. Налетел ветер. Прямо над их головами, в прозрачном, напоенном запахами думяных горных трав, светлом как тибаяни воздухе жужжала пчела.

Они спали, не размыкая объятий.

Они ни на минуту не хотели расставаться. Хорошо бы врати друг в друга... а еще лучше иметь крылья. И вместе летать, вместе взмывать в воздух. Глупые мечты. Детские мечты. Может быть, они еще дети?

«Любовники всегда дети, Иван. Они по-детски восторгаются друг другом. Твоя девушка хороша. Лучше всех. Неужели ты любишь эту девушку?»

Полосатый матрац, набитый сеном, под ними – как облако на фреске в сухумском храме Богородицы. Ему в твердую, как булыжник, ягодицу впиалась сенная колючка, и он беззвучно засмеялся. Крепче обнял возлюбленную. Девушка спала крепко, смежив веки. Ее черные густые ресницы бросали на щеки стрелчатые тени, будто еловые ветки нависли над лицом. Такие густые ресницы бывают только у испанок.

Такие черные, в синеву, волосы бывают только у испанок.

Его девушка была испанка.

Она пошевелилась. Он провел ладонью по ее смугло-розовой, пушистой как абрикос щеке. Она улыбнулась, и он губами выпил эту улыбку, вобрал ее, как вбирал в горах звонкую чистую струю ледяного до ожога водопада.

– Альба, – пробормотала она во сне, – альба...

Он уже знал, что «alba» по-испански значит «рассвет».

Он снова припал губами к ее губам. Они оба были наги, как в день рожденья. Не сознавая, что делают, лишь чувствуя друг друга и видя с закрытыми глазами, лишь желая друг друга до потери разума и сил, они, всецело подаваясь друг к другу, начали медленно исполнять свой обрядовый утренний танец, вечный танец любви. Он был бесконечен. Томителен. Он вбирал их в свою воронку, принимал в лоно огня, и внутри него они сами становились огнем.

Полог палатки был откинут, и солнце над горами набирало силу. Розовые сколы гор сверкали все нестерпимее. Пчела жужжала над их головами. Он распластал ее руки на матрасе, она была его живым распятием; и он налег на нее, он распнулся на ней, пригвожденный к ней судьбой, не знающей пощады. Бедрa их было не расцепить, они спаялись, приварились друг к другу раскаленным металлом. Он подавался навстречу ей, ощущая свое живое жаркое острие внутри нее плотно охваченным кольцом ее огня, и не сдержал стона. Она обняла его ногами, они оба легли на бок, и она нако-

нец-то открыла глаза. Они оба двигались, качались в размеренном ритме, будто плыли в лодке по бурному морю, и волна качала их, качала, качала в утлой скорлупке маленькой жизни, внезапно ставшей для них – единой.

– Иван, – сказала она, задыхаясь, – Иван... Ты...

Она не договорила. Сияющая боль восставшего из тьмы солнца взорвалась в них обоих одновременно. Под своим животом он чувствовал ее маленький, потный горячий живот, вздрагивающий, бьющийся. Он целовал ее лицо, и он видел, как она теряет сознание от счастья.

– Мария!..

Горы в прорези палаточного полога уже сияли торжествующим золотом. Солнце заливало небо, горы, землю, водопад, шум которого доносился сюда, к ним. Одурающе пахло розами. На горной пасеке у грека Сократа, где они жили в горах около снеговой вершины Дзыхвы, росло так много роз, что Мария даже варила из розовых лепестков варенье; она обрывала лепестки роз и усыпала ими их постель, их любовное простое, как у крестьян, ложе. Пчела жужжала. Он держал в руках ее трепещущее, потное, скользкое тело, целовал ее вспухшие спросонья, дерзко-нежные губы, смеялся: ты моя гладкая рыбка, ты выскользнешь у меня из рук!..

– Иван, я люблю тебя... Я... люблю...

У их изголовья лежал, засыхал круглый овечий сыр, принесенный вчера вечером напарником Сократа – армянином Ихшаном, скисало в узкогорлом кувшине молоко, медно за-

стывал налитый прямо из сот в широкую тарелку свежий мед. Позолоченная греческая ложка, настоящая, из самых Афин, торчала в меду, и сквозь слой меда просвечивали на дне тарелки красные античные фигуры – тарелка тоже была греческой, кустарным китчем из порта Пирея, где жила родня Сократа. Пчела жужжала. Небо стремительно светлело. Мария крепче обняла его – ногами, руками, всею собой. Их губы слились, и она задохнулась.

– Ты выпил меня!..

– Я вдохнул в тебя душу...

Жужжанье умолкло. Пчела запуталась в разметавшихся по подушке, густых черных волосах Марии.

Танцовщица Мария Виторес и танцовщик Иван Метелица, сценическое имя Иоанн, танцевальная пара, знаменитая исполнением латиноамериканских танцев и танцев фламенко, солисты концертной фирмы «Ars mundi», отдыхали, раз в кои-то веки, на Кавказе, близ Сухуми, в горах, на пасеке Сократа Костаки, давнего друга Иванова отца; оттуда, с Дзыхвы, был как на ладони виден весь Большой Кавказский хребет – Кавкасиони. Они оба поднимались ближе к вершине Дзыхвы, и перед ними расстилались синие, белые, изломанные, плавные, снеговые волны бессмертных гор. И они, обнявшись, смеясь, будто паря над горами, вдыхая чистейший прозрачный воздух, чувствовали себя двумя ангелами – вот-вот взмоют в облака.

Мария была привычна к горам. Она тосковала, если долго

не выбиралась в горы. Она выросла в Пиренеях.

Вернее сказать так: она выросла между синевою Москва-реки и синевою Пиренеев.

Бабушка Марии была испанка. Ее звали Мария-Фелисита Виторес. Она родила своего единственного сына Альваро в лагере на Соловках, от чернявого молоденького охранника, и дала мальчику свою фамилию. У красавца Альваро Витореса, когда он вырос и женился по страстной любви на настоящей испанке, из Испании, родилась девочка. В честь бабушки, расстрелянной на горе Секирке на Анзере, одном из островов Соловецкого архипелага, отец дал дочери имя Мария.

В конце концов, так звали Божью Мать.

И в имени ли человеческого дело, если речь идет о судьбе?

Сотри мне нимб над головой. Оборви мне крылья. Все равно я – свята. Все равно – полечу. И ты для меня, летящей, еще не вылил пулю.

Они любили друг друга до тех пор, когда солнце вкатилось на гору полудня. И снова окунались, проваливались в дрему. Ишхан, толстый одышливый армянин лет пятидесяти, осторожно подкрался к палатке, раздвинул полог. Увидел их, обнаженных, спящих. Хрипя, сопя, наклонился, аккуратно поставил около голой пятки Марии, похожей на шар из гладкой слоновой кости, большое деревянное блюдо с гроздьями темно-синего винограда. «Спят, – прошептал он умиленно, – спят. Умаялись... артисты!.. Где ж отдохнуть, как не здесь...» Пятясь, так же осторожно вышел. Мария, беззвуч-

но смеясь, открыла сначала один глаз. Затем – другой.

– О, Мария, querida... Да ты не спишь!..

Она закинула ему голую руку за шею.

– А-ха-ха-ха-ха!.. Конечно, не сплю!.. Это ты, ты, ты дрыхнешь, как всегда, без задних пяток... А я, я рабочая лошадка, я не могу так долго спать, как ты... Ты... Иван, ты просто тюлень!..

Оскорбившись, он вскочил, будто подкинутый пружиной.

– Я?! Я – тюлень?! От тюленихи слышу!

Озоруя, он схватил ее под коленки и под мышки, поднял на руки, подбросил в воздухе. Она была легкая, хотя и не маленькая – при своем росте, высоковатом для танцовщицы и проблемном для партнера, выполняющего сложные поддержки, и женственно-округлых бедрах она все-таки была на диво легка – видно, из-за того, что кость у нее была тонкая, грудь маленькая, а прямые изящные плечи узки, и ноги, как у породистой кобылки, утонченно-сухи, точены в лодыжках и щиколотках. Черноволосая головка гордо сидела на высокой шее. Улыбка ослепляла. Она не подкрашивала губы ничем – только для выступлений, на сцену, но и потом бросила – после того, как Иван зло сказал ей: «Прекрати краситься, я же тебя все равно целую на сцене, по ходу танца, во фламенко без этого не обойтись». Он был прав. Когда они плясали классическое фламенко, это был адский костер страсти, именно потому, что страсть надлежало на протяжении танца скрывать, держать внутри себя, как держат горцы вино внут-

ри глиняных огромных кувшинов. Они заводили публику до того, что люди в зале выли, стонали, стучали ногами, локтями о подлокотники кресел, истекали любовным соком, сжимали кулаки: мужчины – чтобы не броситься на шею своим нарядным дамам, соседкам по ряду, женщины – чтобы не обнять, задыхаясь, того, кто сидел справа или слева.

Она извернулась в его руках. Он подставил руки ей под спину. Она лежала на спине на его вывернутых ладонях, касаясь вздернутой рукой потолка высокой цыплячье-желтой, как солнце, палатки.

– Осторожно, дурень! – крикнула она ему, хохоча, дрыгая в воздухе ногой. – Не наступи в тарелку с виноградом! Ишхан принес...

Он сам захохотал, держа ее над собой, как большую коричневую рыбу – так она загорела в горах, так неистовая краска горного солнца наложилась на природную смуглость атласистой кожи.

– Да я тебе... сейчас... ногой виноградную кисть достану!..

– Прекрати, идиот, не показывай тут мне цирк... отпусти меня... а-а-а!..

Иван, продолжая держать ее на вытянутых руках, ногой потянулся к винограду, ухитрился подцепить гроздь большим пальцем ноги, согнув колено, потянул ягоды кверху, да не удержал Марию, пошатнулся, и они оба упали на полосатый матрац, на сбитую простыню, прямо на виноград, раздавив его спиной, животом, локтями, испачкав красным тем-

ным соком и простыню, и подушку, и Ишханов матрац. Запахло молодым вином. Они хохотали как безумные.

– Ну ты дурак, Ванька... Ну ты спятил совсем!.. Я же вся перепачкалась... Что, мне теперь все это хозяйство стирать прикажешь, да?!..

Мария скосила глаз на измаранную красным соком простыню. Покраснела. Это слишком напоминало лишение девственности. Первую брачную ночь. Она закрыла локтем, спиной красное пятно на простыне. На ее лицо набежала тень.

Он наклонился, оторвал губами, зубами уцелевшую, нераздавленную ягоду, наклонился над ней, смеющейся, навзничь лежащей на измазанной виноградным соком простынке, приблизил лицо к ее рту, и ягода всплыла из его губ – в ее раскрывшиеся губы.

– О, счастье мое...

Она уже вбирала губами, как сладкую ягоду, ласкала языком его язык. Его отросшие здесь, в горах, длинные темные волосы щекотали ей шею, щеки.

# МАРИЯ

Я всегда ненавидела аэропорт.

Я всегда ненавидела самолеты.

Я ненавидела самолеты до глубины души. Самой святой ненавистью, какую можно представить. Я всегда боялась их – до безумия. С детства, когда меня мыкали, мотали меж двух моих многострадальных стран.

И я всю жизнь только и делаю, что летаю.

Какие яркие огни! Какая тьма снаружи... Как много людей толкуются, бегут, кричат, спешат куда-то. Спешат улететь, забыться и забыть. А может, вспомнить.

Эта гадина, наш продюсер Родион, господин Станке-евич, в Бога душу мать!.. – взял нам билеты на такой день, когда – по всем прогнозам синоптиков – над Москвой грохотала страшная июльская гроза и пахло не только бурей – ураганом. Я же говорила ему, кричала, ругалась по-испански: да не бери ты нам билеты на послезавтра, обождем грозу! – нет, все-таки взял. А если мы не взлетим?! А если – разобьемся?! А если молния ударит в самолет?!

«Ты трусливая собачка, Виторес, – нагло, удивительно спокойно, докуривая свою вонючую толстую сигару, сказал он. Почему этот русский вахлак любил курить сигары? Строил из себя магната, босса? – Ну, еще повизжи от страха. Никакой грозы не будет. Предсказатели все врут».

Предсказатели... все... врут...

Кто кого обдурил, сеньор Станкевич?! Синоптики – тебя или ты – меня?! У, жирная рожа. Вон он стоит. Ухмыляется. И я, дура, тоже инстинктивно строю глазки, с вызовом – похоже, как в зеркале – ухмыляюсь ему.

– Ну что? Рейс отменяют?

– Если рейс в Монреаль отменяют, то я застрелюсь. – Родион вытащил из нагрудного кармана светлого пиджака швейцарские часы на цепочке, кинул взгляд на стрелки, нахмурился, снова засунул в карман. – У вас, дорогие, контракт с канадцами железный, число в число, час в час. И вы подписали его, равно же как и я. И заплатите неустойку, ежели что. Равно же как и я. Потому что вы и я, зефирные мои, – одно. Одна, как говорится, сатана.

– Пусть мы умрем, да?! О, *santa Maria!* Гляди, Родя, какая свистопляска в небесах! Между прочим, рейс на Токио уже отменили!

– Тем хуже для тех, кто летит в Токио. Вернее, не летит.

Пока я препиралась с продюсером, подошел Иван. Он бежал в буфет – взять мне натурального апельсинового сока. Кока-колу я не пила – у меня от нее болел живот, пиво тоже не пила – быстро пьянела, хуже, чем от русской водки. Разбавленные наполовину водой поддельные соки тоже не пила. Мне всегда нужен был натуральный сок, и лучше апельсиновый. А еще лучше – живой апельсин.

*Апельсин, золотое солнце детства, золотой мяч моей ра-*

*достиги, лети. Мне в руки. Из моих рук. Шкурка, счищаясь, остро брызгает спиртом, гасит свечу...*

– Ванечка, ну ты и долго! Очередь, что ли?.. – Я кивнула на огромное, как фреска, окно аэропорта. – Что творится на улице! Это безумие, лететь в такую погоду! Неужели пилоты такие дураки, что заведомо вознамерятся погубить самолет... и пассажиров, разумеется?!

Иван стоял передо мной, смеясь, высокий, смуглый, как и я, до изумления похожий на испанца, и прижимал к груди пакеты с апельсиновым соком, и блеснул глазами, и блеснул зубами, и кинул, как и я, взгляд на аэропортовское окно. За окном был ад. Молнии хлестали наотмашь, одна за другой, летели, как синие, зеленые стрелы. Гром грохотал без перерыва. Одна особо сильная, розово-зеленая вспышка на миг мертвенным светом выхватила из полумрака зала ожидания, озарила все лица, обернувшиеся к разгулу стихии, в ночь и тьму.

– О, хляби небесные разверзлись, – бросил Иван, косясь на Станкевича. – Querida, возьми у меня из рук, пожалуйста, свой обожаемый сок! Я запасся! До Монреаля ты не вылезешь из клозета...

– Какой ты грубый, Ванька!

Я шутя хлестнула его тонкой ажурной перчаткой по губам. На табло высветилась надпись: «РЕЙС МОСКВА – МОНРЕАЛЬ 675».

– С посадкой в Лондоне или без? – спокойно, как вождь

краснокожих, спросил бритый долыса Родион Станкевич. Ну да, он вытащил из золотого портсигара свою неизменную вонючую сигару и, пыхтя, раскурил. Как я ненавидела самолеты! Как я ненавидела эту смрадную толстую коричневую сигару в толстых пальцах продюсера!

– Без, – встрял Иван. – Я посмотрел билеты. Querida, у нас же с тобой завтра концерт в зале «Ричмонд»!

– Мы не улетим, – беспомощно сказала я и уставилась в стремительно, сумасшедше мчащиеся, сшибающиеся черные тучи за окном, в ночь и бурю. Молнии магниевыми вспышками то и дело освещали мое лицо, я слепла, жмурилась и приседала от страха, и заслонялась от жестокого света рукой. – Вы что, оба сошли с ума, что ли, я не понимаю, мы же не улетим!

– Мы? – Иван, продолжая держать в руках пакеты, изловчился, зубами, без помощи рук, открыл один – ловко, как обезьяна, – отхлебнул сок. Оранжевая струйка потекла по его уже покрывшемуся щетиной подбородку. – Мы, запомни, улетим всегда. Мы же с тобой, querida, ангелы. Запомни это.

– На два слова твою герлфренд, – продюсер крепко взял меня за локоть и, пыхая сигарным дымом, отвел в сторону, обернувшись, кинул Ивану: – Весь сок не выпей, жонглер! Мы сейчас!

Оттащив меня как можно дальше от Ивана, чтобы он не мог нас услышать, лысый Родион, господин Станкевич, любитель гаванских вонючих сигар, наклонился ко мне низко,

так, что я могла поймать презрительно раздувшимися ноздрями не только аромат изысканных парижских парфюмов, не только надоевший, похожий на запах горелой мастики, сизый сигарный дым, но и запах вонючего козлиного пота, – и отчетливо, разделяя слоги, будто бы я была глухая тетеря, сказал:

– Слушай меня внимательно и запоминай. Я дам тебе нечто, что ты должна будешь передать в Монреале людям, которые встретят тебя в аэропорту. Ты будешь держать сумочку в руках. Держи крепко, не вырони. Ты отойдешь к стойке бара в зале ожидания. Там барменша будет баба, негритянка. Ты попросишь у нее сто грамм кальвадоса. Не твоего занюханного сока, а хорошего крепкого кальвадоса, слышишь?! Сто грамм кальвадоса и ломтик лимона на закуску. Один ломтик лимона. Тебя узнают. Черная даст знак. К тебе подойдут двое. Они оба будут в черных очках. Не говори с ними. Молча открывай сумку, доставай, что я дам тебе, и передавай. Ни одного слова. Ни взгляда, ни кивка. Не пялься на них. Может смотреть в сторону. Косить, как заяц. Но чтобы рта не раскрыть. Поняла?!

Я смотрела на него, как если бы он был весь из чистого золота, как его антикварный портсигар, купленный, должно быть, на Кристи за идиотские, фантастические деньги.

– Если запомнила – повтори! Если не запомнила...

Я разлепила пересохшие губы.

– А если не запомнила?

– Монреаль, аэропорт, стойка бара. Барменша-негритянка. Сто грамм кальвадоса, – как неграмотной, как дефективной, снова, по слогам стал он говорить мне. Я оглянулась на Ивана. Он складывал коробки с соками в огромный пакет, держа открытую коробку в зубах. Боже, до чего он ловок, подумала я с восторгом, смешанным со страхом, ловок и любим и единствен. Другого такого в мире нет.

– Ломтик лимона. Подойдут двое в темных очках. Отдать то, что ты мне сейчас дашь. – Холодный пот потек у меня по спине, между лопатками. – А если я это – у тебя – не возьму?

Я старалась выговорить это спокойно. Так же, как говорил он, медленно, чеканя слоги.

Господин Станкевич так же медленно, даже чуть с ленцой, ответил, и его локти сильнее впились мне в плечо:

– А если ты это – у меня – не возьмешь, то я тебе закрою все твои контракты, деточка. Все. До единого. На пять лет вперед. И вдобавок лишу тебя права найти себе другого продюсера. Я знаю способы, как выбить у артиста табурет из-под ног. Много лет этим, Марочка, занимаюсь.

Толстые пальцы так вдавились мне в руку, что я вскрикнула.

– Ты наставишь мне синяков!

– Не кричи, Ванька подумает, я тебя тут насирую на глазах у всего аэропорта. Где твоя сумочка?

Он, не спрашивая меня, раскрыл замок черной маленькой сумки, болтавшейся на тонком ремешке у меня на го-

лом плече. В зале ожидания было невыразимо душно. Молнии мелькали, как экран осциллографа. Буря стояла за окном в полный рост, белыми безумными глазами глядела на нас. Маленький сверток, с виду такой безобидный и безопасный, перекочевал из кармана его необъятного светлого пиджака внутрь моей сумки.

– А самолет не подорвется? – сухими, как наждак, губами спросила я. Мне безумно хотелось пить. За черным окном внезапно вспыхнул смертной белизной сгустившийся мрак, послышался резкий грохот, жуткий гул заполнил все вокруг. Где-то далеко, как одинокая волчица в лесу, тоскливо завывала сирена. К вою подключился еще вой, еще. Белые, с красными полосами, машины заскользили по черному дождевому зеркалу асфальта. Куда-то бежали, размахивая руками, люди. Зарево за окном полыхало все сильнее. Станкевич выпустил мое плечо из цепких пальцев. Он беспощадно дымил сигарой, не выпуская ее из зубов, чуть оскалившись.

– Самолетик упал, – процедил он надменно, не вынимая сигару изо рта. – Третий раз в жизни наблюдаю такое. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты, сама понимаешь, крошка, роковые.

Дым обволакивал его жирное, с двумя – или даже тремя? – противными подбородками, холеное лицо. Он ведь был еще молод, наш с Ванькой продюсер Станкевич. Ему от силы стукнуло тридцать пять. Он просто колоссально разжирел на продюсерских харчах. До меня все еще не доходил

смысл сказанного.

– Упал? – глупо переспросила я. – Самолет?

– Ну не сноуборд же, – так же спокойно, с улыбкой процедил сквозь сигару, сквозь дым Родион Станкевич. – Хочешь, пойдём поглядим? Не думаю, что ваш с Иваном рейс отменят. Его просто отодвинут. Да, отодвинут, скорей всего. Буря скоро кончится. Такие бури быстро кончаются. Вы полетите при ясном небе. И даже звезды увидите.

Он улыбнулся мне, оскалившись, переложив языком из угла в угол рта белемнит сигары. Протянул мне руку.

– Иван, не ходи! Будь здесь! – на ходу крикнул он Метелице, и его подбородки затряслись, как студень. – Я пойду, покажу девочке отпадный ужастик! Она же еще ни разу не видела!

Он волок меня за руку. Похоже, ему совершенно все равно было, испугаюсь я или нет. Ему было интересно. Он хотел, чтобы я увидела рухнувший на летное поле самолет. Услышала крики людей, еще живых. Увидела расплющенные тела – или то, что осталось от них.

Я слышала за нашими спинами крики Ивана: «Эй, Родя, не сходи с ума! Там такая гроза!.. Лучше побудем здесь!..» Родион волок меня за собой, как козленка на веревке. Я еле поспевала за ним, бежала, наступая ему на пятки, задыхалась. Мы вылетели из двери аэропорта в ночь, под хлещущие струи ливня, и ветер сорвал с меня легкий шелковый шарф, обмотанный вокруг шеи, белой призрачной поземкой, мете-

лицей унес вдаль, в черноту. Людской поток подхватил нас, понес. Мы бежали, машины гудели, обгоняя нас, а ливень, спринтер, обгонял нас всех, бросая струи впереди нас, перед нашими лицами.

Они, вместе с другими людьми, подбежали к рухнувшему на взлетную дорожку самолету – огромному, неуклюжему, как старинный дирижабль, аэробусу-«Боингу». Он взорвался в воздухе и рухнул, еще не успев набрать высоту; хвост отвалился и догорал неподалеку от остова, от брюха. Множество машин, служебных, медицинских, аварийных, стояло вокруг потерпевшего аварию «Боинга» плотным кольцом. Бежали санитары с носилками. На носилках лежало нечто, укрытое брезентом, простынями. Мария смотрела, расширив глаза. Станкевич держал над их головами огромный красный зонт. Его губы выгнулись плотноядно, зубы оголились в странной, садистской усмешке. А может, ему просто было холодно, и он скалился от холода.

– Гляди, киска моя, – кивнул он и наклонил зонт, потрянул его, чтобы с него стекли капли дождя, – неслабо машину расквасило! О-у, – как англичанин, протянул в нос, – кто-то еще живой... При таких катастрофах обычно не остается в живых никого... или очень мало... Гляди, шевелится...

Мария смотрела, ее губы прыгали, она не могла удержать их. Прижала руку ко рту. Санитары в черных халатах и в черных шапочках, похожие на средневековых монахов, быстро пробежали мимо них, таща длинные носилки; свешивавша-

ся из-под наброшенного брезента рука, с оторванными, висящими на ниточках кожи пальцами, вдруг дрогнула и поднялась, уцелевшие пальцы хватали воздух. Смотри, приказывала себе Мария, смотри, это живой человек, он думал, что он умирает, что он умер, разбился, но он живет, он хочет жить, – а будет ли?! Ее замутило. Родион, не сводя глаз с разбитого самолета, прижал ее локоть к себе.

– Э-э, хлипкая, а танцовщики ведь должны быть крепкими и сильными, как быки! Здоровенными, как твои испанские быки! И психически неуязвимыми. – Он покосился на нее, встряхнул ее за локоть. – Сильное переживание, не правда ли?.. Вот тебе материал для трагедии. Для трагического танца, между прочим. Можешь положить это в свою образную копилку. Попроси Ивана, пусть поставит тебе такой танец – «Катастрофа»! А?.. Как тебе эта идея?.. Я – в восторге!

Она смотрела на него как на чудовище. Он говорил громко. Люди оглядывались.

– Или – «Плач над разбитым самолетом»! Колоссально... Это будет колоссально! Пластику я сам тебе поставлю... С Гришей Суриковым, он классный хореограф... Представляешь, – он понизил голос, наклонился к ее захолодавшей на пронизывающем ветру, мокрой от дождя щеке, – в какие пластические формы это все может вылиться!.. Я уже вижу этот танец... Да ты сама, милочка моя, – заворковал он, как голубь на стрехе, и подбородки сладострастно дрогнули, – ты

сама – катастрофа! Я еле удерживаюсь... Боюсь только Ваньку – он мне не просто морду набьет, ежели что, он меня...

Родион не договорил. От разбитого самолета на них сломя голову неслась распатланная, простоволосая женщина. Волосы ее развевались вокруг головы, вились мокрыми змеями. Она кричала, раззявив рот, подняв руки над головой:

– А-а-а-а! А-а-а-а! Доченька! Моя дочь! Моя дочь! Верните мне мою дочь!

Ее голос был так хрипл и страшен, что даже скалящийся Родион стер гримасу улыбки с лица, отшатнулся испуганно. Женщина чуть не задела его торчащим локтем. Пробежав мимо Марии и Станкевича, она рухнула на колени прямо на мокрый черный асфальт, мерцающий, словно драгоценный лабрадор, в свете машинных фар и аэропортовых прожекторов, заломила руки, задрала голову к черному, бурному небу и завопила:

– Бо-о-о-ог! Тебя нет, Бо-о-о-о-ог! Тебя не-е-ет! Не-е-ет! Не-е-е-ет!

Мария не сводила с женщины глаз. Отчаявшаяся. Disperata. Как она страшно кричит! Ее сейчас тоже положат на носилки и увезут в больницу. У нее в этом самолете летела дочь, и она разбилась. Прилетал самолет? Улетал? Какая теперь разница. Самолета нет. Ее дочери нет. Нет ничего, кроме груды металла и искореженных костей. Человек при авиакатастрофе разбивается в лепешку. Рассказывали, что, бывает, от человека остаются только наручные часы... брас-

лет... женские серьги. Что такое тело? Сосуд для любви и муки?! А сами они, любовь и мука, – где?! Вылетают из нас, как выдох, как дым?!

– ...не-е-е-е-ет!

Мария зажмурилась. Слезы лились из зажмуренных глаз, из-под сомкнутых век. Станкевич понял – он перегнул палку.

– Идем, идем... Все, слезами горю не поможешь...

«Лицемер, ты продолжаешь лицемерить. О каком горе говоришь ты, зажавшийся шоу-бизнесмен?!» Она повернулась, стряхнула с локтя его руку, как гадкого паука, и пошла, пошла прочь от него, вырвавшись из-под его красного, как гроб, зонта, под ливень, под хлещущие струи, под сверканье молний, в открытые, ходящие ходуном двери аэропорта. А женщина, стоящая на коленях на асфальте, все продолжала кричать, воздевая к черному небу руки, и для нее навсегда Бог перестал быть, и перестала быть жизнь, да и смерть ей была уже не страшна и не нужна.

... ..

Огни. Огни городов, там, внизу, под крылом самолета.

Гаага. Лондон. Осака. Калькутта. Париж. Стокгольм. Кейптаун. Монтевидео. Осло. Лиссабон. Пекин. Гамбург. Снова Париж. И через неделю – о, проклятье, через неделю – Варшава. Она так любила Варшаву, Старе Място, аромат

уютных харчевен, где подавали жареную по-польски куриную и гусиную печенку, и так не любила самолеты. Лучше бы у нее самой выросли крылья!

А танцевать? Любила она танцевать?

Если бы ей сказали: Мария Виторес, завтра к твоим ногам упадут все блага и все богатства мира, ты будешь жить в золотом дворце, есть и пить на золоте, у тебя будет все, что твоей душе угодно! но ты больше никогда не будешь танцевать! – она купила бы пистолет и пустила бы себе пулю в лоб. А если бы ей сказали: Мария Виторес, завтра мы тебе выколем глаза и изрежем ножом твое прекрасное личико, но ты будешь продолжать танцевать на лучших сценах, в лучших залах мира, и тебе будут играть лучшие музыканты мира, и лучшие партнеры мира будут танцевать с тобой! – ты улыбнулась бы и сказала: где ваш нож? Я готова!

Нет. Не так. Ты не хотела бы танцевать ни с кем, кроме Ивана. Ни с кем.

# ИВАН

– И-и-и раз! И-и-и-и два!.. И-и-и-и...

– Выше ногу! Выше ногу! Выше!

– Я больше не могу... Пощади!

– Можешь. Вот так! Так тоже можешь!

– Иван... А-а-а-ах!.. И-и-и-и раз, и-и-и два... И-и-и-и три!.. И-и-и-и раз...

Она была такой мягкой и в то же время такой жесткой в моих руках. Когда я приказывал ей, она не сопротивлялась. Мария, Мариус, Мурзя, Машка, гибкая, сладострастная Мара. Я насиловал ее в работе. Я истязал ее. Я выжимал ее, как выжимают мокрую тряпку, вертел ею, как восточные раскосые борцы вертят в руках гладкие нун-чаки. И она подчинялась мне. Но – только с виду. Она подчинялась мне потому, что хотела победить.

Вы думаете, она спала и во сне обнимала меня?

Она спала и во сне видела сцену.

Сцену и только сцену.

Танец. Свой великолепный, наглый, торжествующий, чудовищно страстный, огненный танец.

Ее танец бил в башку крепче водки. Хмельнее коньяка. Ее танец заводил мужиков до того, что я видел, стоя на сцене, возле кулис, когда она, в розовой юбке с оборками, чуть выше щиколоток, на высоких каблуках, выходила, расправив

плечи, чуть поводя ими, будто незримо сбрасывала с плеч одежду, – как мужики, сидевшие в первом ряду, изнывали, вцеплялись себе в колени, клали руки на ширинки, готовые мастурбировать. Я сам мужик и знаю, что такое страсть. Не возбуждение, не кровь, бросающаяся вином в голову, а мучение и мучительство истинной страсти, неуголенной, неуголяемой, жгущей медленно и больно, как пламя. Женщина, танцующая, может свести с ума. Танец – слишком древняя и тайная магия для того, чтобы ею пренебрегать. Мара была колдуньей. Ее следовало сжечь на площади. Ну да, аутодафе, испанская старинная казнь, ты была достойна ее.

Я придумаю тебе другую казнь. Изысканней. Томительней. В постели. На подушках. Я куплю три бездарных букета роз в метро, распотрошу все цветы и усыплю простыни розовыми лепестками. Твоя юбка как роза. Смуглые руки. Ты машешь ими над головой, а я ловлю твои гибкие, как стебли, руки и беспощадно выламываю их, трясу, сжимаю, сгибаю.

– И-и-и-и раз! И-и-и два! И-и-и-и... Выше ногу! Выше! Руку на пояс! Так! Поддержка! Давай! Ну...

Я схватил ее за пояс, подсунул ногу ей под ягодицу, и она, уже как выжатый лимон за четыре часа репетиции, – я видел, как она устала! – внезапно взмыла, вспрыгнула, помогая мне, вверх легко, воздушно, как маленькая девочка, и вмиг оказалась у меня над плечом, и я снизу видел ее раздвинутые ноги в черном трико, ее обтянутую черной тканью промежность, ее темные от пота подмышки, торчащие под тонким

трикотажем острые соски ее груди, маленьких и налитых, как два персика. Я снова захотел ее. Эту женщину хотели все. Я знал это. До меня она спала со многими. Я был всего лишь ее очередной партнер. Партнер по танцу. По оригинальному танцу, по латиноамериканским танцам, по танцам фламенко. Всего лишь. Нас год назад свел мой продюсер Родя Станкевич. Он сказал мне: «Тю, парень! Ша, ребята, как говорят в Одессе-маме! Я нашел тебе такой персик! Закачаешься! Умереть не встать... Откопал, с позволенья сказать! Не девочка, а клад! Ты хоть парень и не промах, а все никак наверх не вылезешь, даром что я вкладываюсь в тебя, как студия „Парамаунт“ в Чаплина не вкладывалась в свое время! А с этой девкой ты вылезешь, и еще как вылезешь! Ты прославишься с ней, ты завоюешь с ней весь мир! Клянусь мамой, завоюешь!» – «Веди, – сказал я ему тогда, насмешливо, неверяще улыбаясь, – веди, Родя, сюда свою девочку. Я ее испытаю. И, если она окажется дерьмом собачьим, ты поставишь мне бутылку „Хеннеси“. А если она окажется тем, о чем ты мне тут так красочно распинаешься...» – «То „Хеннеси“ ставишь мне ты, идет!» – захохотал он тогда, как припадочный.

«Хеннеси» поставил я, конечно.

И не бутылку. А целый ящик.

Я привез Родиону ящик «Хеннеси» после первой репетиции с Марией Виторес.

Вы думали, после первой ночи?

До первой ночи было еще далеко.

А до первого выступления в танце стиля фламенко – рукой подать.

– Что ты меня бросаешь, как дворник – метлу!

– Что ты, дура, вопишь, как резаная... Машка...

– Я не Машка! – Задыхаясь, поправляя трико, подтягивая его на бедре к развилке стройных, умопомрачительно выточенных Богом ног, она глянула на меня наклонившись, исподлобья, и я захотел заслониться ладонью от этого яростного взгляда. – Я Мара!

– Мара, туда твою мать...

Звон пощечины. Я пошатнулся и чуть не упал.

– Если еще раз оскорбишь мою мать – я убью тебя, Хуан!

Она все еще путала мое русское и испанское имя.

# ПИРЕНЕИ

Сухая земля, звон гитар, запах овечьей шерсти. Село, затерянное в горах. Ночью – лимонный срез Луны над горами. Днем – дикая жара, земля трескается от жары, как губы, и из трещин сочится розовая кровь. Урожай винограда. Давят вино. Все женщины ходят в черном. Альваро Виторес привез в село Сан-Доминго свою единственную любимую дочь.

Здесь, в Сан-Доминго, были похоронены прадед, дед и бабушка жены Альваро, Марии-Луисы Носедаль. Альваро привел Марию поклониться древним надгробиям. Мария, онемев, долго смотрела на выточенные в белом камне фигуры, лежащие на каменных саркофагах – с вытянутыми каменными ногами под складками каменных белых одежд, с изрытыми оспинами времени каменными улыбающимися лицами. Слезы отчего-то сдавили ей горло. Она наклонилась и поцеловала холодный каменный лоб своей прапрабабушки Марии Хосефы Фредерики Луисы Франсиски Носедаль. Она пыталась уверить себя, разглядывая лицо каменной дамы, что она на нее похожа.

Кровь – древняя красная река. Она течет и омывает берега, которых давно уже нет. А она все течет. Кровь – это почти бессмертие. Почему почти? Потому что она перетекает в твоего ребенка.

Внутри ее живота что-то сначала сжималось, потом раз-

жималось. Горячая кровь опаживала живот изнутри, как жарким веером, томящим опажалом. Нутро заливало сладким, невыносимо тревожным. Она, стоя у надгробия, клала себе на живот руку, нажимала на низ живота. Жар поднимался с током крови по ней снизу вверх, захватывая грудь, захлестывая жаждущее горло петлей. Вот отсюда появляется ребенок. О, как же это, наверное, сладко – ребенок. Твоя плоть. Твоя кровь. Твоя жизнь. Продолжение твое. Говорят, женщины страшно кричат, когда рожают. А она? Она тоже будет кричать, когда будет рожать? Это страшно? Это... больно?

Твой ребенок появится на свет, прорастет из тебя, как побег из виноградной лозы. Твой плод. Твоя сладость.

Ей было тогда всего четырнадцать лет.

Всего четырнадцать, а она уже так плясала малагенью и гранадину, ронденью и севильяну, что в Бильбао, где жил тогда ее отец с семьей, потом в Мадриде, куда он переехал, купив там большой красивый дом, на то, как она пляшет, сбегались смотреть все соседи, и во дворе Альваро устраивал представления, после сиесты, ближе к вечеру, когда жара спадала и спускалась прохлада, и где-то далеко, будто на том свете, раздавались надоедливые гудки машин: собирайтесь все, моя дочка фанданго танцует! Сам он красиво пел и виртуозно играл на гитаре, и его исполнение древних андалусских напевов канте хондо вызывало восхищение даже у профессионалов, а ведь Альваро был любитель.

Дома он говорил с дочкой по-русски. С женой – по-испански.

Сюда, в горы, в Сан-Доминго, он приехал с гордостью: гляди, дочь, это древняя сухая земля, это горы, режущие небо, это мужчины с навахами за поясом, это твоя родина. «Папа, а ты не тоскуешь по России?» – впрямую однажды спросила она его.

И он ответил: «Тоскую».

Он возил с собою свою дочь в Россию, останавливался в Москве у друзей матери, покойной Марии-Фелиситы, подолгу жил у них – он занимался загадочным, таинственным для Марии бизнесом, она не знала толком, чем – он говорил ей, что работает специалистом по связям с Россией в филиале музея Гугенхейма в Бильбао, а попутно занимается выгодным франчайзингом, а попутно еще позиционированием уникальных испанских товаров на международных торговых московских ярмарках, – Марии было все равно, чем занимается ее отец, денег у него всегда было так много, сколько пожелаешь, и он никогда не был скупердяем.

Каменные застывшие лица, мертвый звон столетий. Живой и теплый красный и лиловый виноград за осыпающимися сельскими каменными оградами. Маленькая приземистая таверна на окраине села. Здесь они с отцом пили вкуснейшее «пино». И слишком сладкую «сангрию» – такую сладкую, что в горле щипало.

Зачем она пошла в таверну одна?

Отец расслабился. Он позволил ей многое. Он сам тут очутился внутри сонной одури времени, в сердцевине наплывших столетий, и он не заметил, как однажды вечером его девочка, надев узкое черное платье – так одевались здешние крестьянки, просто и печально, – ушла, ускользнула, уплыла по темнеющей, сине-смуглой улице к белому в ночи, приземистому дому, потому что ей захотелось одной, без отцовских пристальных глаз, посидеть за грубым деревянным столом, одной пить из высокого стакана сладкую терпкую «сангрию», одной глядеть на грубые руки и грубые красивые, будто выточенные из тяжелого камня, лица крестьян, мужчин, на дне глаз таящих звериную страсть и Божью тоску.

Она надела черное крестьянское платье и пошла в белую таверну. По каменистой улице, мимо каменных оград и одинокой, как палец, воткнутой в небо, суровой церкви пришла, толкнула тяжелую дверь кулаком. Вошла. Огляделась. В таверне, под низким потолком, стояли три низких, как черепахи, стола, на столах горели свечи в тяжелых медных старых подсвечниках. Одна свеча стояла в железной миске, воск слезами оплывал с нее. Мария села за этот стол, вздохнула и пальцами потрогала стекающий горячий воск.

– Чего сеньорита желает?

Хриплый лающий голос. Собака лает нежнее. Мария глянула вбок. За стойкой бара стояла хозяйка таверны, толстая испанка лет шестидесяти; а может, она была младше, просто

рано состарилась. Мария улыбнулась ей, и ей показалось, что ее губы вспыхнули, так сильно забились в них кровь.

– Вина.

– Вина? И все? Такой маленькой девочке нужно только вина? А может, тебе принести персик на золотой тарелке? – Трактирщица ослабилась. Под черной шерстью широкого складчатого платья жирными складками тряхнулся, поплыл живот. – А может, деточке хочется рыбки? Есть свежие форели, только сегодня муж выловил в горном ручье...

– Не надо. Бокал вина, и все.

Мария покопалась в кармане и выложила на стол монеты. Вино здесь было дешевым. Толстуха, закачавшись, выплыла из-за стойки, с поклоном поднесла ей бокал темного, как кровь, вина, ловко сгребла деньги в подол. Мария подняла бокал и посмотрела вино на просвет. И там, в бокале, в толще рубиново-алого горского вина, она увидела призрачное, качающееся мужское лицо. Она отодвинула от глаз бокал. Лицо не исчезло. Мужчина напротив, за другим столом, тяжело, неотрывно смотрел на нее.

Она встала. Встал и он. Ей стало страшно. Она пошла к выходу, забыв про заказанное вино, про романтику вечерней таверны, про все. Небритое лицо, заросшее черной щетиной, черные виноградины злых, буравящих глаз, выпуклых, как у рака, золотая серьга в ухе. Мужчина был весь в черном, как и она. Она успела заметить торчащую за туго обернутым вокруг талии матерчатым поясом искусно выточенную руко-

ять кинжала. «Наваха», – подумала она, и опять стало горячо внутри живота, как там, тогда, у надгробья прабабки.

Она взялась за ручку двери. На ее руку легла крепкая мужская рука.

– Тише, красивая детка, – тихо, внятно сказал мужчина, – ты поторопилась. Не спеши. Здесь такой обычай – не спешить. Кто сюда приходит, должен уважить хозяйку, посидеть, выпить заказанное вино. Тебя как звать? Ты заезжая?.. Мария?.. В карты играешь, Мария?.. Ага, играешь, это хорошо. Мягкий говор у тебя, ты не из Андалусии случаем?

– Из Мадрида.

– Ага, столичная штучка. – Человек с серьгой в ухе скривился презрительно. – Знаем мы вас, столичных штучек. – Он уже грубо тянул ее за руку обратно к столу. – Садись, садись, посиди. Не рыпайся. Что ты вся дрожишь, ты... норовистая лошадка!..

Он оценивающим взглядом окинул ее расцветающую фигуру. В Бильбао, в Мадриде на нее на улицах тоже оглядывались. Но не так. Эти глаза раздевали ее бесцеремонно. Щупали нагло. Эти глаза кричали: «Ну же, лошадка, раздвинь ляжки, подними хвостик. Я хочу узнать, каково на ощупь твое бархатное брюхо». Она села, закинула ногу за ногу, попыталась улыбнуться так же нагло, вернув дерзкую улыбку небритому мужику. Снова взяла в руки бокал и отпила сразу половину.

«Я хмелею, хмелею, хмелею. Мне нельзя хмелеть! Он

возьмет меня под мышку и унесет. Он разбойник. Здесь, в Пиренеях, много бандитов, отец говорил».

– Я не дрожу. – От вина она и впрямь согрелась, кровь шибче побежала по жилам, щеки разругнулись, ступни потеплели, и ей стало спокойнее. – С чего вы взяли?

Мужчина положил руку ей на колено. Сжал колено. Животу опять стало жарко. Она увидела, что у него грязные ногти.

– Я же вижу. Не дрожи, Мария.

– А вас как зовут? – Она еще отхлебнула вина. Толстуха из-за стойки смотрела на них прищурясь, понимающе. Толстуха знала все, что произойдет, и поэтому ее живот колыхался от смеха.

– Меня? Франсиско. Я разбойник.

– Разбойник?

Она выглядела очень глупо. Он рассмеялся.

– А что? Тебе это так странно? У вас в Мадриде, что, нет разбойников? Там у вас в Мадриде бандит на бандите сидит и бандитом погоняет. Разве не так? В газетах пишут.

– А ты умеешь читать? – вырвалось у нее.

– А ты красивая. – Он послал к черту ее вопрос. – Ты страшно красивая. Ты страшная. От таких, как ты, мужики мрут как мухи. Ты целка?

Она вся залилась краской. Ей показалось – у нее покраснели, горят даже бедра, даже затылок под волосами.

– Ты грубиян. – Она тоже перешла с ним на «ты».

– Не грубее тебя. – Он глянул на часы у себя на запястье. – Поздно. Где ты живешь? У старой Коэльо? У Носедалей? Я провожу тебя. – Он встал. Встала и она, выпрямив спину, чтобы казаться выше и горделивей. – Идем!

Он протянул ей руку. «Вся в шрамах», – с ужасом отметила она, своей руки не подала. Из-за третьего, последнего в таверне, стола, стоявшего около двери, не замеченный ими, навстречу им поднялся третий поздний гость. Бокал на его столе был пуст. И бутылка пуста. Он не был пьян. Он был выше ростом, чем разбойник с золотым когтем в ухе, и его лицо было гораздо красивее – словно выточено умелым резцом из темного гранита, жесткое, резкое, губы тонкие, сведены в нитку, смоляно горящие глаза, черные пули, они уже летят в нее, они попадают в цель. Поздний гость шагнул к ним обоим и взял Марию за локоть.

– Мне кажется, ты поистине груб, мачо. («Почему у них у всех такие хриплые голоса, будто бы они напились воды со льдом?!») Ты забыл законы гостеприимства. Ты не угостил даму и сразу уводишь ее. Так не годится. Красивая сеньорита, – смуглый крестьянин слегка поклонился, – прошу к моему столу. Пепа! – крикнул он хозяйке. – Бутылку «саратосы» и к ней тарелку фруктов! Тащи все, что есть у тебя, старуха, – виноград, персики, апельсины! Осень, созрел греческий сорт, сладчайшие померанцы, el gresco... («Эль Греко, Эль Греко, это же художник, он рисовал мадонн и ангелов, они мучительно простирают руки ввысь и хотят улететь

вдаль, за край полотна, за край фрески, в иную жизнь...») Сеньорита уважит того, кто ее угощает?

Они стояли друг против друга – двое мужчин, два быка, два человека, которым она понравилась, она прекрасно видела это, – и смотрели друг на друга так тяжело, сверля друг друга глазами, разрезая взглядами друг друга надвое, как острыми навахами, так ненавидяще, что ей, под перекрестным огнем этих глаз, стало смертельно страшно. Ей захотелось убежать. Скользнуть под рукой, под мышкой у первого, чернявого разбойника, наклониться, вынырнуть уже по ту сторону двери. Она, кокетливо вскинув плечо, улыбнулась трактирщице, чтобы отвлечь внимание. Не удалось. Они оба встали перед дверью, глядя теперь уже на нее, чтобы она не смогла уйти.

– Пустите, пожалуйста, – сказала она так же хрипло, как они, – меня дома ждут...

Они, казалось, не слышали этого. Тот, первый, бандит с серьгой в мочке, с вожделием смотрел на ее высокую, в задыхании вздымающуюся грудь, обтянутую черной шерстью пиренейского платья, на золотой крестик в ложбинке между грудей. Второй, смуглый, с красивым и жестким, как камень, лицом сделал неуловимое движение. Разбойник не зевал. Две навахи скрестились со звоном. Мужчины подержали над головами скрещенные кинжалы, тяжело дыша, развели руки, опустили ножи.

– До первой крови? Или...

– Или!

Трактирщица беззвучно, обнажая беззубые десны, смеялась, тряся жирным животом. Двое мужчин в ее Богом забытой таверне в кои-то веки дрались за женщину, и это было, черт побери, прекрасно. Она уж забыла, как это бывает.

Мария прижалась спиной к двери. Переводила взгляд на одного, на другого. Внезапно она захотела, чтобы победил тот, смуглый, с каменно-жестким лицом. Она была самка, и два самца дрались из-за нее. Из-за лебедицы... тетерки... оленухи. Она поняла не разумом – кровью: они дрались насмерть.

«Зачем я приехала сюда из Мадрида! Зачем отец привез меня сюда! Они убьют себя из-за меня, и завтра в Сан-Доминго будут похороны. Осень, осень, время сбора винограда!» Тот, высокий, сделал выпад, и наваха вонзилась в плечо небритого. Кровь брызнула, закапала на каменные плиты таверны, залила пол красным вином. Хозяйка не проронила ни слова. Стояла, как ступа. Улыбалась. Должно быть, была уже глубокая ночь.

Небритый изрыгнул дикое, неизвестное Марии горское ругательство, зажал раненую руку ладонью. Когда он выбросил вверх и вперед нож из-под локтя смуглого крестьянина – она не уследила. Наваха вошла под сердце. Мария охнула. Красивый крестьянин стал медленно оседать на каменные замызганные, истоптанные грязными сапогами плиты. Упал. Стукнулся лбом об пол. Небритый отер нож о штанину, пе-

реступил через неподвижно лежащее тело, уже властно, грубо взял Марию за плечо.

– Он был прав. Идем. Я тебя угощу. Угощу там, куда мы идем.

Она крикнула:

– Я не пойду!

Тогда он присел, взял ее под коленки и кинул себе на плечо, как кидают на плечо овцу, как охотник кидает подстреленную добычу. И толкнул ногой в запыленном сапоге тяжелую дверь с медной ручкой в виде головы орла с загнутым хищным клювом.

Она боролась, вырывалась. Кричала. Все напрасно. Он, чертыхаясь, связал ей руки. Завязал черной тряпкой глаза. Она не видела, куда он ее нес. Тряпка на глазах намокла от слез. Она слышала чьи-то голоса, чувствовала запах горелой смолы, жареного мяса, в ноздри проник непонятный, незнакомый и тревожащий аромат – будто бы во тьме жгли ароматическую палочку. Наконец мужчина бросил ее на землю, сорвал с глаз повязку, рассек навахой веревку на руках. Она оглядывалась, как волчонок. Она была внутри пещеры. На камнях были расстелены бараньи шкуры. Лежали горящие карманные фонарики, по-древнему горел в плосках жир. Прямо напротив Марии, без сил лежащей на камнях, сидела грузная седая старуха с серьгами в ушах, тяжелыми как колеса, тускло-золотыми; она раскладывала перед собой карты, и жир из светильника, шипя, капал на камни. Из транзи-

стора, валявшегося около стены пещеры на странном, похожем на плаху пне, лилась нежная трехдольная малагенья. В глубине пещеры ворочались, как камни на дне реки, грубые и глухие голоса – должно быть, там происходил дележ добычи. Она тоже была добычей. Ею попользуются, это понятно. Все внутри нее оборвалось, внутри нее разверзлась бездна, пустота, и вся она, целиком, с сердцем и костями, с молча кричащей душой и перекошенным от ужаса лицом, полетела в эту пропасть.

– Они... изнасилуют меня... все?.. – Она повернула заплаканное лицо к старухе, бесстрастно раскладывавшей карты на камнях.

Старуха медленно подняла сморщенные, как кора, веки и поглядела на лежащую на земле, дрожащую от страха девочку так же спокойно, как вынимала карты из колоды.

– Нет. Ты трофей Франчо. Франчо займется тобой один. Не бойся, Франчо умелый мужчина. Тебе будет с ним хорошо. И ты ведь никому не скажешь, что с тобой приключилось, а? Иначе Франчо отыщет тебя, и тогда тебе несдобровать. А если его посадят в тюрьму, тебя отыщут его друзья. Тогда уже пеняй на себя.

Старуха вытащила карту из колоды и кинула ее, одну, поверх всех разложенных.

– Ай, яй, яй! – зацокала она языком. – Что они говорят мне! Что говорят!

– А что... они говорят?..

Шепот Марии сошел на нет. Старуха погладила карту кончиками скрюченных узловатых пальцев, будто котенка.

– Они говорят, что ты будешь странствовать по свету и умрешь на вершине славы. Ты хочешь умереть на вершине славы? А-а-ах, не каждому дано...

– А любовь? – спросила Мария, лежа на камнях, и облизнула пересохшие губы. – Будет у меня любовь? Я хочу любить мужчину... понимаешь ты, бабка, любить!.. а не быть испоганенной... – Она подползла к старухе рывком, еще, еще ближе, будто змея, по грязному полу пещеры. Быстро, сумасшедше зашептала: – Спаси меня!.. Эй, сеньора, спаси меня... Мой отец богат... Он не оставит тебя... Он даст тебе много, много денег... Его в Мадриде все знают... если что, он вас всех тут найдет... взорвет к чертям все ваше логово!.. спаси, а?.. Не давай меня... ему... им...

Ее лицо все было залито слезами. Старуха молча смотрела на нее. Карты, как живые, дрожали в ее руках.

– Я цыганка, – наконец проронила она, и слова вываливались у нее изо рта, как черные голыши. – Я вижу будущее. Ты станешь звездой. Но ты упадешь с неба. И эта ночь, сегодня, здесь, тебе тоже на роду написана. Ты хочешь пойти против судьбы? Тебе не удастся. Еще никому не удалось пойти против судьбы.

Она все помнила слишком хорошо. Оттого старалась забыть.

Она помнила, как она билась в чужих и страшных объ-

тнях, как рыба; как кусала ненавистный чужой подбородок, воняющий табаком и перцем, и перечно-горький, пахнувший вином и перегаром рот; как ее руки рвали в разные стороны, как ее ноги расталкивали чужими, острыми и горячими коленями, как пригвождали ее бьющиеся ладони к земле, к сухим и выжженным камням грубыми, казалось, железными кулаками. Она помнила все. Зубы, что в сладострастии кусали ее. До крови прокусывали ее губы. Ставили волчьи отметины на голых плечах. Впивались, причиняя адскую боль, в соски. Она помнила эту отчаянную, невыносимую, дикую боль, когда чужая острая плоть вошла в нее и яростно разорвала ее, продвигаясь все дальше, все глубже и воинственнее, заявляя на нее свои права, протыкая ее насквозь и уничтожая ее сопротивление, оставляя лишь себя, напористую, грубую, царящую. Над ней царили. Ее распинали. Ей зажимали рот ладонью, крича: «Кусай ладонь, прокуси! Тебе же уже не больно! Тебе хорошо, не притворяйся, зверек!» Она сама не заметила, когда дьявольская боль перешла в дикую, победную радость, и она хотела, чтобы торжество победы длилось, не кончалось. Крик мужчины, яростный и хриплый, в вышине, в бездне над ней, отрезвил ее. Это все вино. То вино, в таверне. Она напилась вина, опьянела, и ей все это снится.

Она хотела это забыть, но помнила так хорошо – он, изведясь в судорогах и содроганьях, не выходил из нее, снова наполнился силой, отвердел, толкнул ее внутри каменным бычьим

рогом. Боль накатила снова. Он грубо взял ее ноги, задрал, как овце, кинул ее пятки себе на плечи, заплясал в ней так, будто бы плясал сегидилью на деревенском празднике. Она, отворачивая от него лицо, прижимаясь щекой к холодному камню пещеры, плача, кричала: не надо! Не надо! Не надо... Она лежала в луже крови. Ее зад, крестец был весь в крови. Тот, кого старуха назвала Франчо, вонзался в нее, истязая, всю осеннюю холодную ночь, до рассвета. Он взял ее семь раз.

Лучше бы он убил ее навахой. Зарезал, как овцу.

Нет, все это ей приснилось. Ей все приснилось. Она все забыла. Все, до капли.

– И-и-и раз! И-и-и-и два! Поддержка! Батман! Батман, Машка!

– Я не Машка... твою мать!..

Отец был в ярости. Он кричал: «Кто?! Скажи, кто! Я перестреляю весь Сан-Доминго, если ты не скажешь!» Она, сжав зубы, молчала.

Он увез ее на машине в Мадрид. «Мы ничего не скажем матери!.. У тебя нет разрывов?.. Он не покалечил тебя?..» Она впервые видела, как взрослый мужчина рыдает, как ребенок. «Не так... не так это должно было быть у тебя, у моей дочери!..» Две недели она проплакала, лежа на диване, отвернувшись к стене. Телефон в кармане дорожной сумки напрасно трезвонил. Мать заботливо подносила лекарства, горячее питье, куриный бульон в фарфоровой чашке. «Девоч-

ка переутомилась. Слишком много занятий в колледже. Это типичное нервное перенапряжение. Ей надо сменить обстановку. Ей надо поехать в другую страну». Мария-Луиса внимательно смотрела в лицо мужа, поправляла на виске иссиня-черную прядь, выбившуюся из прически. «Куда, Альваро?.. В Швейцарию?.. В Англию?.. Я поговорю с Джо Ланкастером насчет Оксфорда... Заодно и язык улучшит...»

Через месяц слез и лежания лицом к стене, однажды утром, Марию стошнило. Ее рвало мучительно и жестоко, выворачивало наизнанку. Воздух вокруг нее пах по-иному. Пища пахла по-иному. Когда мать внесла в ее комнату на жостовском расписном подносе, привезенном Альваро из России, жареную курицу, ее снова скрючило в невыносимой рвоте. «Девочка отравилась!.. Альваро, звони в госпиталь Святой Лусии...» Она забилась в угол дивана. Ощерилась, как пойманный охотниками лисенок. «Я никуда не поеду!» Мать, с подносом в руках, попятилась к двери. Она никогда не слышала от дочери такого истошного, отчаянного крика.

Она загнала рвоту глубоко внутрь себя. Она заставила себя улыбаться, смеяться, есть и пить все, преодолевая отвращение, танцевать, преодолевая слабость и желание прилечь и уснуть. Единственное, что она ела жадно, смакуя, с наслаждением, это виноград. Она ела его гроздьями, обдирая ягоды быстро, как голодная коза – листву с куста.

Через полтора месяца отец отправил ее учиться в Москву, в Высшую школу бальных и этнографических танцев Ната-

льи Смоленской. Ее взяли в Школу без экзаменов, после того, как она станцевала перед комиссией зажигательную пентенеру.

Еще через три недели она почувствовала, как внизу ее живота что-то оборвалось. Дикая боль скрутила ее прямо в танцзале. Девочки окружили ее, сбились в испуганную, верещащую стайку, кричали: «Врача! Врача!» Она не помнила, как ее, на носилках, погружали в карету «скорой помощи». Боль отняла у нее сознание. Очнулась она оттого, что кто-то злой нетерпеливо, раздраженно хлопал ее по щекам. «Очнись же! Очнись! Больная Виторес, просыпайтесь, живо!» – рассерженно говорил высоко над ней, в небесах, низкий женский голос по-русски. Она разлепила веки. Широколицая докторша в круглых и огромных совиных очках удовлетворенно вздохнула: очухалась!.. – и перестала лупить Марию по щекам. Мария ощутила, что лежит голым телом на резине. Резина неприятно холодила тело. Вошла санитарка, грубо окунула тряпку в ведро с хлорной водой, грубо ляпнула тряпкой об пол, завозила ее взад-вперед, подтирая пыль в палате. «Что со мной?.. Где я?..» Врачиха обернулась уже от стеклянной, замазанной белой краской двери. Такой же замазанный белым плафон висел под страшным грязным, в трещинах, потолком. «Выкидыш у тебя был, поняла?» Она смотрела тупо перед собой. Услышала откуда-то сбоку тихое бормотание: «Она иностранка, она ничего не понимает, она не знает по-русски этого слова...»

Сестра сделала ей успокаивающий укол. Ночью к ней явились три черноколых молодых цыганки, оттуда, из бандитской пещеры в горах близ Сан-Доминго. Она склонились над ней, щекотали монистами и косами ей шею, шептали: «У тебя, Мария, никогда больше не будет детей. Никогда. Никогда». Она закрыла глаза. Ее веки превратились в чугун. Ее глаза превратились в соль. Ее рот превратился в камень. Пока она лежала в больнице, она ничего не говорила. Соседки по палате думали, ах, бедняжка, она еще и немая. Когда из Мадрида вызвали отца и он прилетел, не помня себя от горя, она, глядя на него черными запавшими глазами без дна, только сказала ему: «Папа, я хотела назвать его Альваро, у него уже были ручки и ножки, у него уже были глазки, а скажи, он уже любил меня или еще нет?»

# МАРИЯ

Карты. Они ложатся, как надо. Они черно-красной рекой текут из-под руки, из-под сухих, похожих на корни сосны пальцев, из рукава. Меня учат гадать.

Знаменитая московская предсказательница, прорицательница и ворожея, цыганка Лола, учит меня профессионально гадать.

Лола знаменита. Она зарабатывает большие деньги. Москвичи бегут к ней толпой, деньги текут рекой. Доллары, рубли. Иная валюта. Лолина реклама висит в метро. На рекламном стенде Лола, улыбающаяся, в красно-синем тюрбане, расшитом золотыми звездами, намазанная ярчайшей в мире помадой, белые зубы, белые белки глаз на смуглом южном лице, держит в руке веер карт, внизу надпись-слоган: «СУДЬБА КАК НА ЛАДОНИ». Лола сама оплатила рекламу. Реклама дорого встала ей. Все хотят иметь свою судьбу на ладони – и дорого платят за это.

У Лолы дома забавно. У нее комнаты втекают одна в другую, просматриваясь насквозь, и это называется анфилада. У нее старинный буфет с цветными стеклами. На стенах вперемешку православные иконы и тибетские мандалы. К ее огромному портрету маслом, писанному знаменитым Витасом Сафоновым, приделаны настоящие золотые, круглые и массивные, как автомобильные шины, таборные серьги. Вре-

мя от времени Лола встает, подходит к буфету, наливает в хрустальную маленькую рюмочку из маленького, будто игрушечного, графинчика себе питье, выпивает, мне не дает. Допинг? Доза? Жадность? Тайна? Водка, настоящая на цыганских травах? Я молчу. С погасшей люстры над столом свисают красные шелковые ленточки. На широком, накрытом белой как снег скатертью столе горит свеча красного воска. В блюдо налита вода. На дне блюда лежит золотое кольцо. Перед свечой стоит зеркало, старое трюмо. В трюмо отражаются десятки, сотни свечей. Бесконечный ряд. Бусы света рассыпаются, катятся вдаль, навек уводят взгляд за собой. Опасно смотреть в Лолино зеркало. Ты можешь уйти туда за дорогой света насовсем.

«Ты испанка, – твердит мне Лола, – ты понятливая, в тебе течет такая кровь... Ты должна видеть будущее! Ты андалузка?..» Я родилась в Бильбао, шепчу я. «А, страна басков, – кивает Лола и закуривает длинную коричневую сигарету. Ее черные, прошитые серебряными нитями седины, волосы крыльями птицы ложатся на виски, на уши. Тяжелые, как у той, давней, пиренейской старухи, серьги дрожат в морщинистых мочках. – Страна бешеных басков! Так ты тоже бешеная, девочка?..»

«Я не бешеная, – бормочу я. – Я хуже. Я безумная».

«Почему ты безумная?» Кажется, Лола ничему не удивляется.

«Потому что я рабыня. А я так хочу стать свободной».

«Стой, дай увижу. Рабыня – чего?.. Рабыня денег?.. Рабыня своей сцены?.. А-а... стой, вижу... ты любишь двоих... а тобою помыкает третий!..»

Проклятье. Чертовка. Она действительно видит все.

Все, да не все. Она немножко ошиблась. Скосила свой Третий Глаз. Я люблю одного. Меня любит другой. А третий и правда подмял меня под себя и думает, что все, что он победил.

«Гляди, я кладу сюда тебя, это ты, червонная дама, а это я кладу тебе под сердце, а это – на сердце, и, видишь, сбрасываю карту, а сюда кладу три, чтобы...»

«На сегодня довольно, Лола, – говорю я и вынимаю из сумки кошелек. – Я устала. У меня еще вечером репетиция в танцзале на Моховой, потом я еду к спонсору наших выступлений в Токио, потом хочу принять сауну. Если я у тебя засижусь, я ничего не успею. Чао». Я кладу на край стола три купюры. Лола незаметным движением стряхивает их со стола себе в подол, как хлебные крошки. «Когда, Марочка, придешь?.. Знаю, знаю, что завтра...»

Ким. Иван. Родион.

Лола не угадала все до конца.

Может быть, будет еще один.

А может, их у меня будет сто двадцать один. Тысяча двадцать один. Плевать я на них на всех хотела!

Я сбегала по лестнице Лолиного дома на Тверской так, будто за мной гнались. Я гнала на машине до своего дома

на Якиманке так, будто меня преследовали. Когда я открывала дверь – о, хитрый финский замок с девяносто девятью секретами!.. – я инстинктивно оглянулась. Нет, никого. Почудилось. Скорей внутрь. В дом. В прибежище. В укрытие. Скорей.

Захлопнуть дверь. Закрыться на все замки. Сердце бьется, как у подстреленной на охоте утки. Тебя не подстрелили, Мария, нет. Тебя поймали в силоч. В капкан. Тебя загнали. И выхода – нет.

Он – четвертый – тот, кого не угадала бедная знаменитая Лола – может позвонить в любой момент. Вырасти, как гриб после дождя из-под земли.

Но я еще не знаю его имени.

# КИМ

Он познакомил меня со своей партнершей, представив скупое: «Это мой отец, Мария, прошу любить и жаловать», – но не сказав, кто я такой и чем в жизни занимаюсь. Он не хотел пугать эту милую испанку, так хорошо и правильно говорящую по-русски, будто бы она родилась и выросла на Ордынке.

Если бы Иван сказал, кто я такой и чем я занимаюсь, она... Что сделала бы она? Рассмеялась? Испугалась? Презрительно вздернула черноволосую головку? Плюнула мне в лицо? У нее очень пухлые, вишневые губы, очень большие, как черные озера, глаза, очень ослепительные, в голубизну, зубы, очень смуглая кожа, очень черные, в воронью синеву, густые волосы, очень тонкая талия, очень точеные бедра. Она вся «очень». Она вся «слишком». Когда она случайно сбросила расшитый золотой нитью тапок с ноги, я нашел, что у нее очень маленькая ножка.

Такими рисовали в старинных книгах райских гурий... или пери, как их там. Она не похожа на испанку. А на кого? На индуску? Ванька сказал – она чистокровная испанка. Нет, не совсем. Ее дед был лагерный охранник откуда-то, кажется, с Печоры... или с Соловков. Семейные легенды? Быль? Мне, откровенно говоря, все равно. Она улыбнулась мне, показав ровные, как круглая подковка, зубы.

Мы мило сидели за аперитивом, мило говорили, мило улыбались. Я тоже кивал и улыбался. Я не сознавал, что теряю голову. Я понял, что ее потерял, только когда приехал домой, сотовый завыл в кармане «Интернационал», я поднес телефон к уху, буркнул: «Метелица слушает!» – а мне знакомый, слишком знакомый голос отдельно сказал: «Завтра, угол Садово-Черногрязской и Большого Харитоньевского, пять вечера, черная „волга“ 88-УТ, шофер, седок. И седока, и шофера. Обоих. Желательно без дублей. Двадцать тысяч». Я слушал в трубке отбой и понимал, что я потерял голову. Потому что я слушал заказ, а видел перед собой ее. Эту черноволосую испанскую танцовку. Видел, как она смеется, закидывая голову; как ест апельсин, и сок течет у нее по губам и пальцам; как она неумело курит, отгоняя дым рукой, и снова хохочет; как взмахивает густыми, будто у дорогой куклы, ресницами, опасно взглядывая на меня. Я слушал заказ, а перед глазами у меня торчала, как спица в колеснице, эта смуглая кокетка, и мне хотелось протянуть руку и сначала нежно коснуться рукой ее щеки, а потом грубо рвануть пальцами вниз ворот ее легкого платья, разрывая ткань.

Если бы Ванька сказал ей, что его отец – киллер, интересно, что бы она стала делать? Вскочила бы с кресла, крикнула: убирайтесь?! Мило улыбнулась?

Пять вечера. Садово-Черногрязская. Бойкое, однако, место. Милицейских машин прорва. Не так-то просто уйти. Надо четко продумать систему ухода. Запасная машина. Пере-

бежки дворами. Или – с этажа – снять квартиру на сутки – винтовка с оптическим? Верная «моська»? Нет, не пойдет. Машина – верткая собачка, мелькнет в потоке и растворится, улизнет, и лови ее за хвост. Надо быть рядом. Ждать на дороге. Угол, он сказал, угол Харитонья и Садовой... Нормально. Позвоню Славику. Он будет ждать на Чаплыгина. Пройду дворами. Вырулим в Лялин. Потом – на бульвары. На Садовом кольце нас изловят в два счета. Потом со Славкой выкатимся на явочную на Покровском, в машине останется Голованов, он поменяет номер, домчит на Юго-Запад, заведет тачку в гараж. Все шито-крыто. Или сразу рвануть к Аркадию? Сразу вытрясти из него монету?

Если все будет хорошо, заявлюсь к ней, к этой чертовой цыганке, с букетом роз и бутылкой хорошего коньяка. Она пьет коньяк? Или она лижет, как кошечка, сладкий ирландский шоколадный ликер? Или ей вообще нельзя ни спиртного, ни сладкого, и она блюдет и сохраняет свою сногшибательную фигуру?

Киллер Ким Иванович Метелица, бывший биатлонист, бывший неоднократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, экс-чемпион, ныне вольный стрелок, ушедший на вольные преступные хлеба, муж и отец семейства – жена – владелица салонов «Версаль»: занавеси, портьеры, гардины, все для вашего домашнего дизайна! – и две несовершеннолетних дочери, помимо старшего сына Ивана, от предыдущего брака, – был влюблен как мальчишка. Ему было страшно

себя, страшно будущего. Впервые он испугался своей профессии, поневоле, в страшное время, избранной им. Он испугался, что однажды не он убьет, а его убьют. И он больше никогда не увидит эти пухлые сливовые губы, эти черно-синие блестящие, гладкие волосы, эти черные глаза...

«Ах, эти черные глаза!» – зазвучала у него в голове старая, потрепанная песенка, будто с плывущей, хриплой старой пластинки. Чушь! Он крепкий, здоровый взрослый мужик. Он слишком серьезным делом занимается, чтобы все вот так враз взять и кинуть ради первой попавшейся юбки. И потом, не дури, Кимушка, сказал он себе, закуривая «Кент» и затягиваясь дымом до одури, до опьянения, это же девушка твоего Ваньки. Как ты смеешь, старый ловелас!

Ловеласом он не был. Он честно влюбился в свою портьерную даму, честно развелся, честно женился, честно родил детей. Обе жены, и брошенная и нынешняя, были им довольны. Он зарабатывал достаточно и хорошо обеспечивал обе семьи. Правда, для хорошего заработка нужно было ни много ни мало – время от времени убивать живого человека. Того, кого ему заказывали. Он работал чисто. Он делал все, соблюдая инкогнито. Он делал все так, что еще ни разу его заказчикам, среди которых были и очень высокопоставленные персоны, не приходило в голову, посредством другого киллера, убирать неаккуратного исполнителя. Его учили хорошо стрелять. На зимних Олимпиадах он выбивал все пять мишеней на огневом рубеже за рекордно короткий срок, и

без промаха, без использования запасных патронов. Он работал в жизни без запасных патронов и без запасных секунд. Он укладывался в минимальное время дистанции. Он всегда шел на мировой рекорд.

Впервые в жизни он, легши на живот на холодный снег, перед огненным рубежом, и прицелясь, щуря глаз, держа винтовку у плеча, видел, как трясется перед глазами мушка. Он не мог выстрелить. Он не мог выстрелить в судьбу. Надлежало отбросить оружие прочь, в сугроб, вскочить, выпрямиться и пойти, раскинув руки, навстречу судьбе.

И перед пляшущей мушкой, улыбаясь, сощутив глаза от блеска резучего алмазного снега, у него на дороге, между черной мишенью – черноволосой, вожденной женщиной с длинными ногами и такой улыбкой, что весь мир, казалось, должен пасть к ее ногам – и им, спятившим от бабы на старости лет, стоял, вскинув руки, его сын.

... ..

– Наложил краску сюда! Да, вот сюда! А румян хватит. Не переборщи. Много румян на роже – это дешево.

Григорьевна Марии, крохотная, тощая молоденькая девушка с кривым, скошенным на сторону, носиком-клювом, с тонкими язвительными губами, которые, когда она улыбалась, тоже странно ползли вбок, наползали на щеку, отчего искренняя улыбка получалась кривой и вымученной,

вздрогнула всем тщедушным тельцем и так и застыла – с руками, вздернутыми в воздух, с зажатými в пальцах щеточками, косметическими карандашами, коробочками с румянами. Она-то, профессионалка, уж знала, сколько, как и куда румян накладывать на женскую мордочку. Однако прикинулась незнайкой. Хозяин – барин.

– Хватит, Мария Альваровна?..

– Я же сказала, Надя! И так хорошо!

Гримершу звали Надя. Мария не интересовалась особо, откуда она и кто она. Ей посоветовали девочку, порекомендовали – она и взяла. Своего визажиста для выступлений, для концертов непременно надо иметь. С тряпками она пока справляется сама, врожденный вкус ей не изменяет, да и сама она умеет шить, спасибо матери, научила там, в Мадриде, – а вот грим – дело прехитрое. Надя так Надя, пускай, и потом, она дешево берет. Мария платит ей гроши, а трудится девочка в поте лица. Утренний макияж, дневной макияж; вечерний; концертный; ночной, для посещения баров и ночных клубов; особо торжественный – для приемов, для выступлений в посольствах, для международных конкурсов; гастрольные краски; московский грим; грим после бани; косметика лучших фирм; самые питательные кремы; самые модные в этом сезоне тени, помады, духи... По совету Нади Мария выписывала модные журналы с косметическими рецептами и наставлениями. По рекомендации Нади покупала помаду «Clinique» в Donna Caran boutique, духи

«Guerlain», тени в Valentino shop, румяна у Армани. Как хорошо было не думать о том, как искусней подкраситься! Легкие руки визажистки делали все сами, делали все за нее. Ее голова была занята танцем. Бабы проблемы – глазки, лапки, губки, бальзамы для тела, маски из земляники и клубники для лица – легли на узкие плечи этой Надежды-искусницы, этой лилипутицы, этой северной карлицы. Ну да, она же с Севера, откуда-то из Архангельской губернии, а там все такие вот крошечные, как букашки, как карликовые заполярные березки. Жалко девчоночку, росточком не вышла. Мамочка вовремя не пичкала ребенка гормоном роста.

– Спасибо, Надюша! – Мария встала и с высоты своего роста покровительственно глянула на малютку. Черт, еще и ножки кривые, как у рахита. Да, такая – не станцует... – Мне пора. Ты не видела ключ от машины?

Гримерша вскинула на Марию большие, прозрачные, почти стеклянно-белые, как льдины, глаза.

– Вот он, Мария Альваровна!

Гримерша взяла ключ с крышки рояля. Протянула Марии. Мария, изогнув губы в улыбке, положила ключ в карман широко светлого пиджака от Черрути. Услужливая девочка. Ты для нее – хозяйка. А как все-таки приятно, когда ты для кого-то – хозяин. А если ты для кого-то – раб?

Она передернула плечами. Иван. Она – рабыня Ивана? Чепуха.

«Врешь, ты его рабыня. Он вертит тобой как хочет. Он,

вместе с этим своим толсторылым Родиком, решает, куда, в какую страну вам ехать. Он изматывает тебя на репетициях, как будто ты деревянная, на ниточках, марионетка, а не живая женщина. Ты для него – его позиционирование, Мария. Его реклама. Его известность. Его деньги. Да, она, талантливая, может быть, даже гениальная Мария Виторес, – всего лишь деньги Ивана Метелицы! Переживи это! Перевари, если можешь!»

– Пока, Наденька. – Мария щелкнула замком сумки, вынула стодолларовую купюру, добавила еще пятьдесят, протянула девушке. – Кажется, я еще не расплатилась с тобой за июнь? Твое жалованье.

– Мерси. – Надя сделала смешной книксен, став еще меньше ростом, и, вспыхнув, смущенно зажала деньги в кулаке. – Завтра я вам нужна?

– Нет, дружок. Завтра отдыхай. Завтра я весь день у станка. Не до грима.

– Не забудьте на ночь намазать лицо кремом с выжимкой из персиковых косточек... тем, швейцарским!..

– Не забуду.

Улыбнувшись, Мария пропустила визажистку вперед. Девушка, подхватив сумочку и зонтик – грозное выдалось в этом году лето, – послала Марии неуклюжий воздушный поцелуй и, стесняясь, убежала. До чего смешна, как зверек... бурундук, выхухоль. А дело свое знает хорошо. Никто не знает, что у нее работает одна из лучших визажисток Москвы.

Мария закрыла за собой дверь. Прекрасная квартира. Она жила в элитной квартире, в роскошно отреставрированном и заново отстроенном доме напротив отеля «Президент». Она купила ее на свои, заработанные деньги. Они с Метелицей, с их танцами – оригинальными и народными, с их новой балльной программой, с их участием в престижнейших конкурсах спортивных танцев, наконец, со свежей, только что сделанной суперпрограммой «Моя Испания» покорили весь мир, и деньги потекли к ним рекой. К ним обоим. Но главная в дуэте – это же ты, ты, только ты, Мария! Твой партнер – только твоя рама, твоё обрамление, твоё бесплатное приложение, запомни!

Она спустилась вниз в лифте. Почему она боялась лифта? Она не могла бы себе это сказать. Потому же, почему и самолетов?

Или это вообще была такая странная клаустрофобия?

Ее машина, верткая и маневренная «БМВ», мирно ждала ее около подъезда. И машину ты тоже купила на свои денежки, Мария; так что ж тебе жаловаться на жизнь? Все у тебя есть, девочка. Только ты никогда, никогда, слышишь, никогда не купишь себе дом в Сан-Доминго.

Она щелкнула кнопкой, дистанционный «сторож» весело пискнул, она всунула ключ в дверцу – и застыла. Из-за машины прямо на нее пристально глядели холодные, бесстрастные, белые глаза.

– Госпожа Виторес?

– Да, я. – Она постаралась держаться как можно спокойней. – Кто вы? Что вам нужно?

Мужчина даже не считал нужным скрывать, что он выследил ее. Презрительно-устало глянул на часы, всем видом давая понять: долгонько же ждал я тебя, козочка, пока ты там, у себя, красилась-мазалась.

– Я? Кто я такой, вы узнаете скоро. Открывайте дверь. Садитесь в машину. Я сяду вместе с вами. Вы поедете туда, куда я скажу вам.

Она старалась изо всех сил оставаться хладнокровной. Ее мысль безумно-быстро билась в ней, билась, билась в ритме колотящегося сердца.

– У меня в кармане кнопка срочного вызова моей личной охраны.

– Не врите. У вас нет никакой личной охраны. Мы все узнали. А легкомысленно жить в Москве без личной охраны, нет? Правда, охране надо сейчас дорого платить. Или вы никогда не думали об опасности?

– Я закричу, – холодным голосом сказала она.

– Попробуйте.

Мужчина с глазами пронзительно-светлыми, будто у него в череп были вставлены две слепяще-ярких белых лампы, быстро вытащил из кармана пистолет. Черный круглый рот дула высунулся из-под полы пиджака. «В этом сезоне модны светлые пиджаки, вот и у Родиона такой же», – зачем-то подумала Мария.

– Понимаю. Уберите. – Она повернула ключ, зло дернула на себя дверь. – Садитесь. Сюда, на заднее сиденье.

Человек, удовлетворенно усмехнувшись, спрятал пистолет в карман. Плюхнулся на сиденье. Мария уселась, положила на руль руки. Счастье, что ее пальцы не дрожали.

– Куда едем? – «Черт, черт, отец же говорил, и Иван говорил, и все говорили – Москва криминальный город, и Россия криминальная страна. Я не верила. Я смеялась. Я слишком беспечно жила. Все мы можем на ровном месте вляпаться в дерьмо. Вот и я нарвалась. Я не думала, что это когда-нибудь произойдет со мной. Я думала... а, к черту все, что я думала! Все полетело к черту, Марита, ты же понимаешь. Какая я дура, что я не попросила Ивана купить мне пистолет! Или, на худой конец, газовый баллончик. Какая это, оказывается, насушно необходимая вещь... здесь и теперь». Она крепче вцепилась в руль, чуть повернула голову к захватившему ее.

– В Лефортово.

– Куда именно? Улица?

– Первая улица Энтузиастов, двадцать пять. Вы хорошо знаете Москву? Мне не сесть за руль?

– Нет. Я достаточно знаю город. На «Авиамоторной» я покупала кое-что для своего автомобиля. Там, в Лефортово, хороший рынок.

Машина снялась с места. Они ехали, беседуя, как милые попутчики. Марию разбирала злость. «Идиот, идиот. И я – идиотка. Если я ему нужна, он меня не застрелит, если я вне-

запно... что? Остановлю машину, выпрыгну и брошусь бежать? Кинусь под ноги любому милиционеру? Наберу номер, выдернув из сумки сотовый телефон? А если не нужна? Ему, разумеется, дороже своя жизнь, а не моя. Он будет спасать свою шкуру и убьет меня». Она вдруг ощутила, как это просто, как обыденно – убить человека. Вот она есть сейчас, натянуто улыбается, бросает незначащие фразы, ведет машину. Один – выстрел в затылок – и ее нет. Нет, будто не было. И больше не будет никогда.

«Так вот что такое смерть. Вот что такое ужас смерти. Лефортово, там же рядом где-то знаменитая тюрьма. Он не выстрелит тебе в затылок, Мара. Не выстрелит. Он хочет, чтобы ты вместе с ним приехала к нему, в какое-то его логово. Кто он? Банальный шантажист, вымогатель денег? Больной? Маньяк? Безумец? Непризнанный гений танца, который хочет принудить Марию Виторес... к чему? Чтобы она оставила Иоанна и взяла в партнеры его? Бред. Что-то другое. Что? Что?!»

Руки и ноги бессознательно, автоматически делали свое дело. Она вела машину так, будто бы исполняла танец. Танец во сне. Быстрый, четкий – и в то же время призрачный, замедленный. Руки двигались, ноги двигались, душа не двигалась. Душа застыла, замерла, преодолевая страх. Страх накатывался черной волной. Плавающий на солнце асфальт дороги летел под колеса. Светофоры мигали глумливо. Она чуть не сбила кошку, ошалело перебежавшую через автостра-

ду. Спасся зверек? Попал под чьи-то колеса? Она не успела рассмотреть. Она гнала машину все быстрее, все злее. «А если мы врежемся? Пусть врежемся. Наплевать. Не жалко. Что ты городишь! Жить надоело?! У тебя, между прочим, через пять дней выступление в Лионе! А потом – в Токио! А потом – участие в грандиозном фольклорном шоу „Драгоценная планета“ в Сиднее! И вы с Иваном должны везде танцевать! Везде! И в Сиднее, и в Лионе, и в Гонконге, и в Токио! Контракты подписаны! А ты хочешь сдохнуть?! Если даже ты сама захочешь – ты не сможешь! Потому что Станкевич раскопает твою могилу, сделает из тебя зомби и убьет тебя еще раз!»

Светофоры мигали. Летела дорога под колеса. Летели мимо люди на тротуарах. Люди уже были странно чужие, немые, искусственно-деревянные, потусторонние, – жители другой планеты, не той, по которой в «БМВ» ехали они оба. «Авиамоторная». Лефортово. Повернуть налево. Вот мост через железнодорожное полотно. Грохот электрички, свист гудка врезался в уши.

Мария свернула на улицу, названную тем, кто взял ее в плен. Ехала, глядя прямо перед собой. «Уж наверное, сам посмотрит номера домов».

Он положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, как от ожога.

– Здесь. Остановите машину. А лучше бы въехать во двор. Она сделала, как он сказал. Двор был замусоренный и

грязный. Марию поражало в России это безразличие к месту, где человек жил, проживал свою жизнь. Приводился в порядок только центр. Да и то только фешенебельные, аристократические улицы. Ближе к окраинам лоск исчезал. Оставались неряшливость и пренебрежение. Пренебрежение человека к самому себе. Она, испанка, не понимала этих безногих, перевернутых скамеек, этих изрезанных ножами, искалеченных подъездных дверей, этих гор грязных рваных газет на газонах. Как люди здесь не любили себя! А кого – любили? Или – что? Деньги? Своих правителей? Своих ближних? Свои бирюльки в своем доме? Боже, какое счастье, что она испанка.

«Тебе пришел конец, испанка. Тебя сейчас заведут в четыре стены, банально, кроваво изнасилуют, да еще и снимут на кино пленку, уникальные кадры. Мария Виторес в объятьях лефортовского урки. Урка, так, кажется, по-русски называется этот... грубый, страшный уличный бандит?.. разбойник?.. уже отсидевший в тюрьме...»

Мужчина уже открыл дверцу и галантно подавал ей руку. Он отнюдь не был похож на урку. Он был похож на дипломата. На актера из популярного фильма. На...

Светлые, очень светлые, почти белые глаза. Глаза как у волка.

Он смеялся.

Она оттолкнула его руку и выскочила из машины, чуть не зацепившись высоким каблуком за резиновый коврик на

полу салона.

– А вы смелая девушка, – смеясь, сказал он. – Я думал, вы побледнеете, будете умолять меня... звать на помощь. Вы этого не сделали, хвалю.

– Я не нуждаюсь в вашей похвале. Куда идти?

Он столь же учтиво, как в старинном менюэте, взял ее за локоть и подвел к двери подъезда. Набрал код на домофоне. Гнусавый голос прогудел:

– Кто-о-о?..

– Я привез фиалки с Якиманки. Полную корзину, как вы просили.

Дверь медленно отъехала. Когда они вошли, так же медленно, неотвратно закрылась.

Они поднялись на лифте на седьмой этаж – Мария запомнила цифру. Она все видела, слышала и ощущала сейчас ясно, холодно, четко. У нее и впрямь куда-то подевался страх. Удивительная ясность мысли; и память, память работала всюю. Зачем? Чтобы потом рассказать Ивану? Вдруг она не выживет? Лифт с зеркалами; зеркала подвешены выше человеческих голов, для кого? Кто будет в них смотреться? Инопланетяне? В углу кабины – окурочок. И надпись, процарапанная ножом на стене: «Витек гей». И выше – еще одна, выжженная горячей сигаретой: «ЕСЛИ ТЫ ИЗМЕНИШЬ МНЕ, Я ТЕБЯ УБЬЮ».

Она старалась не глядеть в светлые, как вода, глаза похитителя. Лифт дернулся, остановился, двери с шипеньем

разъехались. Перед дверью квартиры Мария задрала голову, увидела черную, как паук, цифру на медной овальной табличке: «25». Двадцать пятая квартира, седьмой этаж. И дом двадцать пять. Легко запомнить.

«Тебе ни к чему это запоминать. Тебе эти цифры никогда больше не понадобятся. Тебя убьют, а косточки твои закопают на пустыре... или отвезут труп и сбросят куда-нибудь в карьер в Кузьминках... в грязное озеро около Московской кольцевой... Тебе двадцать пять, Марита, тоже двадцать пять...»

Залязгал ключ в замке. Дверь распахнулась. На пороге стоял маленький, плюгавенький человечек, с виду – вокзальный бродяга, правда, одетый с иголки – красивая, только из бутика, модная «тройка», золотая цепочка часов свешивается из кармана жилета, начищенные башмаки блестят, как собачьи носы. Человечек сказал, как чихнул:

– Проходите, господа! Уж заждались!

Мужчина, похитивший Марию, подтолкнул ее вперед. И она переступила порог, чуть не сшибив гномика-аристократа с ног.

Такую вызывающую, до противности, слащавую роскошь она видела впервые. Всюду золото. Позолоченная лепнина. Подушки, вышитые золотом. Золотые и бронзовые вазы на постаментах. Отлитые из серебра фигурки нимф, коней, Меркуриев и Персеев. Натюрморты в тяжелых позолоченных багетах – дыни, персики, ананасы, вылизанный ки-

стью до приторности виноград на огромных, во всю стену, холстах. Везде в шкафах – хрусталь, и белый и цветной, хрустальные горки. Тяжелая мебель красного дерева. Цветной паркет. Старинные столики с инкрустацией. Антикварные тарелки и блюда – Гарднер, Кузнецов. И старинное золотое цыганское монисто, привешенное к двери. Чтобы входящие задевали головой, и чтобы звенело.

Мария коснулась мониста рукой. Золотые монетки тихо зазвенели, будто нежно шептали ей что-то.

– Садитесь, – плюгавенький мэтр подвинул ей стул. – Поговорим?

Она опустилась в кресло красного бархата. В таком, должно быть, сидели маркизы... короли. Из какого Эрмитажа эти сволочи его стащили? Украли... купили за десятки тысяч долларов?..

– Я слушаю вас.

Человек с пронзительно-светлыми глазами шагнул вперед. Он не сажился. Он стоял перед ней, сидящей, и его светлые глаза летели сквозь нее навывлет.

– Госпожа Анна Луиса Мария Виторес, подданная Испании, в настоящее время живущая в России, известная танцовщица, исполнительница народных, этнографических, древних, реконструированных, бальных и спортивных танцев, а также неподражаемая исполнительница танцев фламенко. – Он слегка наклонил коротко стриженую голову. Его очень светлые, почти белые волосы казались седыми, если б

не чуть золотистый их отлив, если бы не молодое, сыто-гладкое лицо с торчащими, нервно ходящими ходуном под гладко выбритой кожей скулами. – Вы передавали некий пакет в Монреале двум людям, которые подошли к вам в баре аэропорта? Отпираться не имеет смысла. Это были вы.

Мария не опускала взгляда, не шевелилась. Смотрела мужчине в лицо. Прямо в белые глаза.

– Должен отметить, что вам это хорошо удалось.

Она молчала.

– Мы хотим предложить вам продолжить столь успешно начатое. С несколько иным креном... хм-м-м... в сторону, быть может, для вас шокирующую... или пугающую, но я убедился, что вы не из пугливых. Нас устраивает, в вашем конкретном случае, что вы – гражданка другой страны, и одновременно отлично говорите по-русски, в силу обстоятельств вашего, э-эм-м-м, происхождения. Нас устраивает ваш социальный статус артистки. Нас устраивает... м-м-м... ваш возраст. Ваш возраст, ловкость, свежесть, ваша красота, наконец. Это все ваши козыри в нашей, хм, с вами игре. Вы молчите?

«Что я должна им говорить? Гады. Они меня вербуют, это ясно. Или – что-то другое? Слушай, Мара, слушай. Что будет, если ты им скажешь „нет“?»

– Угости гостью коньяком, Витя. – Светлоглазый покопился на роскошный старинный итальянский буфет восемнадцатого века с цветными витражами. Дверца буфета бы-

ла открыта, и внутри поблескивала армада разномастных коньячных бутылок. – Она слишком напряжена. Ей надо расслабиться. Хлебнуть коньячку и расслабиться... разогреться. Она, мне кажется, замерзла. – Он посмотрел на нее так, что ей показалось – он прикоснулся обеими руками к ее голой груди. – Вот так, спасибо, да, эти бокалы, темно-зеленые! Ах, как пахнет. – Он поднес бокал к носу, втянул воздух. – Итак, ваше здоровье, богиня фламенко! – Он легонько стукнул бокалом о ее бокал. – Вы продолжаете молчать? Это в высшей степени бессмысленно. Вы даже не поинтересуетесь, что я вам предлагаю?

Она молчала. Потом наклонила голову. Волосы, гладко зачесанные, блеснули сине-изумрудно, мрачно. Она поднесла бокал к губам и отпила сразу большой глоток. «Мне надо оглушить себя спиртным. Но не напиться. Храбрости прибавит. А если я напьюсь, они сделают со мной Бог знает что. Держи себя в руках, Мара». Белоглазый тоже пригубил коньяк, прикрыл глаза.

– М-м-м, вкусно. Тот кальвадос, в Монреале, был вкуснее? Ну же? Вы что, не помните?

Плюгавенькая крыса снова сунула цепкую крючковатую лапку к горлу бутылки. Старинные часы на стене напротив пробили пять. За тяжелыми черными шторами, закрывавшими окна, должно быть, вовсю плясало фанданго сумасшедшее июльское солнце.

– Ты, дрянь! – Внезапно рванувшаяся вперед, к ее горлу,

рука стиснула ей глотку, опомнилась, выпустила, схватила ее за подбородок. Другая рука дернула ее за плечо, как картонную, неживую куклу. Рывком подняла со стула. – Овечкой прикидывается! С Жирным спала, нехилый гонорар получала, как сыр в масле каталась, приказы выполняла, а сидит, лягушка, глазами хлопает! Делает вид! Ах, сейчас потеряю невинность! Ах, спасите-помогите! Прожженная шлюха! – Рука оттолкнула ее подбородок, чуть не свернув скулу на сторону, и Мария не устояла на ногах, упала боком, ребром, больно, на буфет, зацепив бокал, уронив его на паркет. Бокал разбился с легким звоном. – Брось притворяться! Мы прекрасно знаем все про тебя! Мы осведомлены! Мы знаем, на кого ты работаешь! Смогла работать на Жирного – будешь работать и на нас! И на нас ты будешь работать старательней и чище, лучше, чем на Жиригу! Лучше! Лучше!

Она, вцепившись руками в буфет, глядела на похитителя остановившимися глазами. Мужчина отряхнул руки, поддел носком ботинка осколки бокала на полу. Остро, невидяще глянул на старинную картину в роскошном вычурном багете, изображающую купание Сусанны. Сусанна трогала ногой воду в маленьком квадратном бассейне, по бокам бассейна торчали лысые головы старцев; сквозь толщу воды просвечивало уроненное на дно жемчужное ожерелье. Мужчина сплюнул себе под ноги.

– Почему ты молчишь?! Хочешь, чтобы тебя ударили по-настоящему?!

Она молчала.

# ИВАН

Я до сих пор помню наше первое выступление.

Я чуть с ума не сошел тогда.

Я чуть с ума не сошел от нее, когда мне ее впервые привел Станкевич. Она взмахнула ресницами – и все, я уже был готов. Она сделала вот так, руку на бедро положила, чуть подбоченилась, прищурясь, весело рассматривая меня из-под ресниц, словно диковинное тропическое насекомое, – и я уже пропал. Я же не знал тогда, кто она такая, зачем Родион приволок ее ко мне. Я не знал, кем она будет для меня. Что она взорвется потом внутри страны, откуда родом был ее отец, как бомба – и все выжжет, испепелит вокруг.

Помню, как я глянул на нее, постарался тоже подбочениться, тоже – надменно, чуть заметно, фыркнуть: надо же, какая цаца. И, наверное, после Московского хореографического такая мымра?.. Я не знал тогда, что она испанка. Думал – может, грузинка... Когда жирный Родька толкнул ее в спину ко мне и возопил: «Мария Виторес, viva Испанья-а-а-а!» – я все понял. Родька нашел мне экзотическую девушку для подтанцовок?! А может, и еще одну?.. Я оглянулся, ища глазами другую девушку. «Я нашел тебе партнершу, – жестко сказал Станкевич. – Вдвоем вы станете знамениты. Я нашел тебе потрясающую пару. Представь себе, она танцует все фламенко. Она танцует фанданго. Она танцует да-

же олу! Олу могла танцевать, по воспоминаниям современников, лишь одна танцовщица на свете – Анна Дамиани! И та жила в семнадцатом веке, мир ее праху... Любовница Веласкеса, между прочим...» Я знать ничего не хотел ни о какой любовнице Веласкеса. Я шагнул к ней, к этой синеволосой белозубой гордячке с ногами, что росли из подмышек, и внезапно властно и нагло обнял, взял ее за талию. И повлек за собой в стремительном, спонтанном танце. Ну же, козочка, покажи класс!

И она показала.

Она тут же поняла, что я от нее хочу.

И мы вдвоем, едва увидевшие друг друга, еще не познакомившиеся, лишь глянувшие друг на друга презрительно и нахально, мы – на глазах у трясущего подбородками от смеха Станкевича – станцевали такой сумасшедший танец, что мне до сих пор жаль, что нас не записали на пленку хоть скрытой, хоть открытой камерой!

А первое выступление врезалось в меня навек. Горячим сургучом. Печатью. Клеймом. Клейма ставят рабам. Клейма ставят преступникам. Клейма ставят каторжникам. Мария навек поставила на мне несмываемое клеймо любви. О, как же я ненавидел ее на первом выступлении!

Мы готовились к нему долго. Станкевич изнасиловал нас репетициями. И я с наслаждением изматывал, истязал, крутил Марию в батманах и подержках, заставлял ее вздергивать ногами у станка: «У тебя нет достаточной гибкости в ко-

лениях! У тебя бедра не ходят свободно! Ты вся как замороженная! Работай! Работай! Работай!» – а она, казалось, была двужильная. Она оказалась двужильнее меня. В нашей битве проиграл я. И как же она классно выиграла ее! На самом шоу!

Станкевич задумал экзотическую программу. Он захотел поразить насмерть взыскательную и объевшуюся премьерами московскую публику. Публика давно уже не была благодарной. Публика хотела жареного. Жареных уток. Жареных газетных фактов. Жареных трупов в сожженных дачах. Жареных концертов.

Станкевич придумал столичной публике жареное шоу.

Оно называлось: «АУТОДАФЕ».

Мы вдвоем, одни, без кордебалета, без подтанцовок, без никого, должны были, средствами танца, создать целую картину, огромную фреску, где образы средневековой Испании и трагедии нынешнего дня, обвалы взорванного террористами World Trading Center и дикие костры, на которых жгли еретиков, крест прежний и распятие сегодняшнее должны были, по идиотской задумке Родьки, сплетаться и переплетаться, и мы оба, Мара и я, должны были быть одновременно и героями-исполнителями этого супершоу, и красной нитью, прошивающей насквозь весь спектакль-дуэт. Этой нитью, разумеется, была любовь.

И любовь наша должна была разворачиваться в пылком, сначала строгом и страстном, потом – безумном, вихревом,

диком фламенко, где, доведенная до экстаза, в конце сумасшедшего танца – олы – танцовщица сбрасывает рывком одежды и пляшет на сцене голая. Изображая соитие. Изображая разлуку. Изображая отчаяние. Изображая, самое главное, огонь, на котором ее, еретицу, сжигают на главной площади города.

Мы готовились тщательно и отчаянно. Но я сам не ожидал того, что произойдет на спектакле.

Билеты были раскуплены заранее: Родион позаботился о рекламе, разрекламировал нас как только мог и где только мог. О нас писали «Kosmopolitain» и «Elle», «Караван историй» и «Арт-хроника», о нас вещало радио «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы», и все только и делали, что нагнетали страсти: «Спешите видеть! Это невероятно! Дикое настоящее фламенко оживает в этом мужчине и в этой девушке, словно созданных для страсти и друг для друга!» А мы друг друга почти ненавидели. Я – потому, что я желал ее, а она меня – нет. Она – потому что она думала, что я по-настоящему ненавижу ее, и возвращала мне мою ненависть бумерангом.

Вся Москва была сверху донизу оклеена афишами и увешана, как новогодняя елка, орифламмами, протянутыми на улицах над головами прохожих и гладкими железными спинами машин. За два часа до выезда на выступление Мария вбрасывала в рот странные таблетки – либо допинг, либо успокаивающее, я так и не понял. Потом она, обернувшись

к нам с Родионом, грациозно выгнув спину, сказал, не глядя на нас – мы видели только ее затылок: «Мне нужно домой. Я быстро. Вы выезжайте одни. Без меня. Я подъеду к залу». Родион пожал плечами: мол, брыкливая девчонка, пес с ней, пусть делает что хочет. Авось не опоздает.

Перед концертным залом на Новослободской уже проходу не было от желающих попасть на «АУТОДАФЕ». «Нет ли лишнего билетика?!» – цапнула меня за руку девица в супермине, с вытарашенными глазами; девица прижимала к груди маленькую японскую собачку с такими же выпученными огромными глазами, хлопала намазюканными ресницами, и я не сразу понял, что это не девица, а парень – голубой, а похоже, и трансвестит. «Представьте, нет!» – нервно крикнул я и грубо отцепил от своего локтя его руку с длинными налакированными ногтями. Черт, мужик, сменивший пол... Никогда не пойму... Ведь быть мужчиной – такое счастье. Это свобода... сила... это жажда поиска, храбрость, это... риск, пусть даже ты напорешься брюхом на военную железяку под водой... А женщиной? Каково это – быть женщиной?

Женщина. Загадка. Богиня. Дьявол?

Или – океан, вглатывающий, вбирающий тебя всего, с потрохами, без остатка?

«Фу, какой грубиян!» – кинул мне вслед этот, с накладными грудями. Я бежал вперед, за мной Станкевич. Мы думали, мы опоздали. Опоздывала она.

Станкевич, тряся подбородками от негодования, все на-

бирал и набирал номер ее сотового. «Отключила, поганка! Чтобы ей, видишь ли, не мешали!» Я молчал. Думал отчего-то о том, как же хорошо после выступления выпить пару-тройку бутылок пивка с хорошей жирной воблой, и чтобы в вобле, в ее брюхе, была сухая мелкая оранжевая икра. Танцору нельзя пиво, от него, проклятье, толстеют.

«Никогда не верь женщине, потому что она...» Станкевич заткнулся, потому что в примерку, хлопнув дверью, входила Мария.

Я заткнул себе рот кулаком, чтобы не закричать. От чего? От удивления? От ужаса? От восторга? Черт знает от чего?

Да, это было черт знает что.

Мария послала к черту все наши продуманные костюмы, все тряпки, сшитые под руководством Станкевича, весь грим, наложенный по команде Станкевича. Перед нами была не Мария. Перед нами была... уж и не знаю, как сказать.

Перед нами была Смерть.

Тяжелый черный балахон. Тяжелые складки. Скрывающие от взоров все, вплоть до пяток. Капюшон, надвинутый на лоб, на лицо. А вместо лица...

Вместо лица у Марии, из-под низко надвинутого балахона, просвечивал череп.

Натуральный череп. Кость белела из-под обвислой траурной ткани.

Я стоял как истукан. Я лишился дара речи. Станкевич очнулся первым. Присвистнул: «Ну ты и стерва! Что ты мне хо-

чешь этим сказать, девочка? Что ты сегодня выступить не будешь, а, это самое, грубо говоря, значит, умирать собралась, так?..» Мария молчала. Смерть стояла перед нами. Портрет Смерти в натуральную величину, в полный рост. Хочешь не хочешь, мы смотрели на нее. В пустые глазницы черепа. В скалящиеся зубы. В безносую харю.

Мы смотрели Смерти-актерке в лицо, и мне стало не по себе. Я сделал шаг к ней, чтобы сдернуть, стащить с нее этот жуткий балахон, сорвать эту маску, но она сама опередила меня, и черная ткань черной тучей легла к ее ногам, и череп отлетел, упал на диван, и там, под чернотой, она была одета тоже черт-те во что! Я никогда не видал таких платьев! По крайней мере, никогда не танцевал с бабами, одетыми именно так!

На Марии была ярко-розовая юбка с множеством оборок, похожая на махровый цветок – на гвоздику, на пион, – едва прикрывавшая колени. Это было бы полбеды.

Сверху... ее грудь...

Я не удивился бы, если бы ее грудь была обнажена.

Я не удивился бы, если бы ее грудь была закутана в прозрачный газ. В рыболовную сеть. В грубую мешковину. В любое тканое человеком полотно.

Но ее грудь была *закована*.

Закована в жесткую темную, как темный мед, медь.

Медь. Железо. Латы. Рыцарские латы.

Какой театр она, умалишенная, ограбила?! С какого Ры-

царя Печального Образа латы стащила?!

Станкевич ударил кулаком в медный панцирь. Заорал: «Откуда ты это взяла?! Раздевайся сейчас же! До выхода осталось, кляча, всего пятнадцать минут! А ты даже еще не разогрелась! У-у-у, задница...» Мария отодвинула от себя его кулак, как вещь. «Не мешайте мне. Иван, – обернулась она ко мне, и глаза ее заблестели неожиданно просяще и покорно, как у овечки, – это задача. Задача, понимаешь? Ты должен, танцуя со мной сначала малагенью, потом севильяну, потом, уже в полном безумии, последнюю олу... ты должен... стараться... снять с меня этот панцирь... не руками, понимаешь?... а любовью... Ты должен меня любить так, чтобы эта скорлупка... ну... упала... чтобы ты вынул меня из-под нее – живую!.. чтобы ты не дал мне умереть... хоть меня, по сценарию, и сжигают на костре... понимаешь?..»

Я, кажется, начинал понимать. Она переиграла весь сценарий! Она хотела все сделать по-другому! Хотела сама! Ей не нужен был никакой Станкевич!

Ей нужен был я.

Она проверяла меня на прочность.

«А ты... не отчебучишь ничего там, на сцене?.. Рисунок танца остается, надеюсь, тот же?..» Она пожала плечами. Что означало: а черт его знает!

И она снова натянула на себя черный балахон, приладила к лицу маску Смерти, запахнулась, закрылась локтем, и я проклинал все на свете, а особенно тот день, когда Родька

эту испанскую авантюристку привел ко мне.

И мы вышли на сцену, а зал сначала взорвался, потом притих. Зал будто молился нам тишиной.

Мария стала танцевать. Я забыл о себе. О своем танце. Меня не было. Она заполнила, заплонила все – и зал и небеса, и меня и себя. Она маячила передо мной черной Смертью. Она взмахивала надо мной руками, как взмахивает Смерть косою. Я, казалось, видел и чувствовал, как катится, скошенная, с плеч моя голова. Она падал на пол, застывала черной горой. Публика недоумевала: вот это наряд! Публика оторопела, когда Мария, при особо мощном минорном аккорде гитар – а на шоу «АУТОДАФЕ» нам аккомпанировала не одна, не две, не три – ни много ни мало двадцать гитар! целый оркестр! – после моего отчаянного жеста, когда я заклонился от смертного видения рукой: уйди! Не хочу! Я еще не твой! – внезапно сбросила балахон. Я пропустил тот миг, когда черный балахон Смерти сорвался с ее плеч и, несомый дикой музыкой – уже звучала не севильяна, а огненная, сумасшедшая ола, – полетел в дальний угол сцены. Мария танцевала босиком, так, как и надо было в древности танцевать фламенко. Все каблучки и туфельки придумали потом. Во времена Гойи кокетничали каблучками. Во времена Анниты Дамиани олу плясали босиком, а после этого танца женщина отдавалась мужчине, понравившемуся ей.

Публика пялилась и на ее грим. Это не было лицо женщины, испанки. Это было лицо языческой богини. Казалось,

ожил древний иберийский идол. Она нарядилась странно – набила смуглые щеки, отчего ее мордочка казалась мраморной, густо насурьмила брови, и что-то грозное, мужское появилось в лице, – а на виски и уши у нее с затылка свисали, спускались странные круги, будто колеса, – металлические? сплетенные из ниток? картонные?.. – а в мочках у нее висели такой же формы, но поменьше, тяжелые золотые серьги – как они не мешали ей танцевать! Позже я узнал, что таков был древний обрядовый наряд жительниц Пиренеев. Зал охнул, увидев ее в вызывающе сексуальной юбке и в медных латах, закрывших грудь, живот и спину.

Зал хотел наготы, а музыка гремела.

И я встал над ней, над иберийской богиней, на цыпочки, с поднятыми вверх руками, с опущенными вниз пальцами. Я был мужчина, и я должен был победить ее. Победить богиню, поклоняясь ей.

Это был танец двух безумцев. Танец ожившей статуи и спятившего тореро. Я был тореро, а она была повелительница пиренейских быков, женщина-рыцарь, закованная в броню девственности и неприступности. Смерть обратилась в жизнь, но жизнь эта была медная, железная, как были железными все боги, которым люди служили от века – деньги, оружие, короны владык. И я должен был выпустить на свободу иную жизнь, теплую, горячую, живую.

Я вился вокруг нее веретеном. Я грубо ронял ее на пол. Я старался придвинуть губы к ее губам, чтобы поцелуем снять

медное заклятие – напрасно. Я заносил руку над ее головой, будто бы в руке был кинжал, чтобы напугать: сейчас вонжу наваху под ребро! – ее ярко накрашенные губы усмехались. А гитаристы, ударяя по струнам, все убыстряли темп, а она закручивалась в тугую пружину. Публика уже истомилась до последней степени. И мне удалось сорвать поцелуй с губ Марии. Настоящий. Горячий. Поистине любовный.

Ибо в ту минуту, когда я, взмокший от олы, целовал ее на сцене, я уже любил ее.

И – вот оно! Где, какие она нажала кнопки, заклепки на медной блестящей скорлупе? Тяжелый звон раздался – это латы падали, звеня, на доски сцены. И легкий шорох – это упала к ногам Марии розовая юбка в оборках. Когда я поднял голову, на ней уже не было древних иберийских украшений. Ни серег. Ни налобников. Ни этих жутких колес на ушах. Ни лат и юбки. Она была голая. Она смеялась. Только пот посверкивал над губой. И глаза блестели.

Выжженная земля Кастильи. Выжженные камни Пиренеев. Выжженная танцем жизнь.

Последние такты олы. Последний выход.

Я схватил ее в объятия. Она прижалась ко мне крепко, так крепко, будто была со мною в разлуке целую жизнь. Ее рука скользнула мне вниз, к развилке ног, где мой напрягшийся дротик уже готов был лететь навывлет, сквозь нее. Я снова почувствовал на своих губах ее губы. Ее жаркие, влажные, потные губы – и чуть не спятил. Ее язык быстро лизнул мой

язык, она оторвала лицо от меня и быстрее молнии опустилась передо мной на колени. И губы, что целовали миг назад мой рот, прижались к черной тонкой ткани трико, где под тонкой паутиной полоской трикотажа вставал на дыбы мой зверь, мой жеребец. Она совсем рехнулась, акт на сцене!

Ее губы нашарили там, внизу, под вот-вот готовой разорваться тканью трико, мое торчащее естество – и мгновенно вобрали, сжали, и зубы укусили, и я застонал, и, слава Богу, гитарные переборы заглушили этот стон, этот ужас.

«Мария, что ты делаешь, опомнись», – прошептал я, но разве она слышала мой жалкий шепот в буре музыки, поднявшейся вокруг нас! Гитары неистовствовали. Мария вскочила на ноги, запрокинулась, ее маленькие ножки резво, быстро побежали, перебирая, по навощенным доскам. Ола гремела. Гитаристы выжимали из инструментов последнюю кровь.

Мария еще раз обняла меня в танце, и я снова поцеловал ее – уже не помня себя, уже видя только ее одну, желая ее с невероятной силой. Публика вопила и хлопала в ладоши. Я чувствовал под своим животом, затянутым в черное трико, ее голый горячий живот. Я поразился тому, какая красивая была у нее грудь. У всех моих партнеров, с кем я танцевал раньше, у всех козочек кордебалета были груди, хоть немножко, да обвислые. Я никогда еще не встречал у женщины груди совершенной формы. Две живых смуглых чаши, идеально ровные, гладкие, высоко поднимающиеся. И соски

торчат как ягоды.

Когда она успела стереть с лица грим? Белила, помаду? Когда отвернулась к заднику сцены, выплясывая олу, показывая вопящему залу свой голый круглый зад?

Когда она повернулась и предстала передо мной и перед зрителями передом, во всей красе, крики и свисты, как на футбольном матче, перекрыли музыку.

Я подумал: люди шли на танцоров, а попали на секс-шоу, но это же не закрытый ночной клуб, это сцена, и что завтра напишут наглые папарацци? А думать было уже некогда. Музыка неумолимо катилась к концу.

Мария подняла руки над головой, посмотрела на меня, и я понял: я теперь уже не тореро, я – инквизиция. И я приговорю ее. И я сожгу ее. И она взойдет на костер.

Не помня себя, я простер вперед руку, ставшую деревянной, железной. Теперь я превратился в железо, а она была живая. Я выносил приговор, а она горела в живом огне. Она прижала пальцы ко рту, искусно изображая отчаяние. Мы поменялись ролями. В начале танца она была Смерть, я молил о пощаде; теперь она молила меня: оставь меня в живых, любимый мой! ведь ты так любишь меня! – а я беспощадно возвышался над ней железной статуей, бестрепетным Командором, священником, исполняющим букву великого и незыблемого церковного закона. Любовь – грех! Свобода – грех! Жизнь – самый большой грех, ибо только мертвые счастливы, а душа бессмертна, и ей надлежит спастись от

греха.

И я был ее столб, куда ее привели исполнить аутодафе; и она была огонь, в котором горела, и она, живая, протягивала из огня мечущиеся руки к народу: спасите! Умоляю! А во мне все остановилось. Дыхание, движение, жизнь. Я смотрел на эту испанскую девочку, выделяющую на сцене такие чудеса, что и цирковые артисты померкли бы перед этим шоу, что держала в своих руках, между своих быстрых танцующих ног она одна, – я был тут совершенно ни при чем, я был каким-то статистом, какой-то вещью, которой она виртуозно вертела, и в то же время я был ее возлюбленным, и она любила меня – пусть хоть так, хоть на сцене, хоть понарошку! Я стоял каменным идиолом. А она падала передо мной на колени, распластывалась на досках сцены, умоляла меня, протягивала ко мне руки, лицо, всю душу протягивала она ко мне, и ее тело при этом беспрерывно танцевало, металось, вспыхивало, угрожало, молило, соблазняло, кричало: отпусти! Я же твоя! Я же любила тебя! Отпусти!

Оставь – мне – жизнь...

Костер горел. Я стоял как столб. Она вскинула руки последний раз, ее нагое смуглое тело дернулось, выгнулось в судороге. Она легла, стоя на коленях, лицом на доски, согнувшись, как дитя в утробе матери, и только ее руки вскидывались над ее черноволосым затылком, судорожно взбрасывались, раз, другой, третий. Все. Затихли. Сложились, как крылья.

И гитары ударили резко, мощно – и настала тишина.

Настала такая тишина, которая бывает только раз в жизни у артиста. Может быть, у кого-то это бывает несколько раз в жизни, не знаю.

И минуты две, три зал молчал.

Мария лежала, скрючившись, у моих ног. На секунду потустороннего холода и ужаса мне показалось, что она и вправду мертва.

Все молчало. Пахло намазанными мастикой досками, сценическими опилками. Пахло сладким женским потом. Пахло не смертью, а жизнью. Черный балахон валялся вдали, в углу.

И зал взорвался. Зал взорвался, зашелся в крике, в воплях: «Браво-о-о-о!», «Би-и-и-ис!», «Виторе-е-е-ес!», «Еще-о-о-о!». Мария не поднималась с колен. И тогда я дал незаметно знак – опустить занавес.

Когда занавес пошел вниз, она вскочила как ни в чем не бывало. И я поразился, какое же веселое и озорное было у нее лицо.

– Пока я тут лежала, головой вниз, у меня вся шея затекла, – весело сказала она, растирая шею, морщась. Я смотрел на завитки черных блестящих волос внизу живота. Она инстинктивно закрылась рукой. – Что смотришь, Иван? Дай быстрее балахон. Я буду выходить кланяться одетая! Все, все закончилось, понимаешь, все!

Я едва успел подхватить балахон, она едва успела наки-

нуть его на себя и завернуться в него, как занавес снова пошел вверх. Мы, держась за руки, вышли к рампе, залитые ярким светом. Что творилось в зале! Я не могу это описать. Такого не творится и на рок-концертах. Такого, думаю, не было ни на «Скорпионз», ни на «Центурионе», ни на Шевчуке, ни на Земфире. И на Монсеррат Кабалье такого не было. И на Лючано Паваротти. И на Коле Баскове. И на Хосе Каррерасе. И вообще ни у кого и никогда.

«Виторес! Виторес!» – завывал зал. Мы кланялись, взявшись за руки, как в детском саду. Ее крепкие пальцы до боли сжали мои. На ее губах сияла заученная сценическая улыбка – все тридцать два зуба. Ее грудь под черным балахоном вздымалась часто, высоко, и мне стало жалко ее – бедняжка, как она задохнулась! Аплодисменты нарастали, и она снова подвела меня к краю сцены, мы поклонились, как марионетки, и она повернулась ко мне.

«А ты неплохо танцуешь, – разлепив губы, довольно громко сказала она, чтобы я услышал ее через рев зала. – Вот только прыжки тебе не удаются».

Я обалдел. Прыжки мне не удаются! Прыжки, видишь ли! Неплохо я танцую, скажите-ка! «Я не лягушка, – пробормотал я сквозь зубы, – ищи себе, девочка, другую жабу».

Так мы обменялись любезностями на сцене, у рампы, в виду беснующегося зала. Молодежь взбрасывала руки в воздух, размахивала зажженными зажигалками. Кто постарше – просто неистово били в ладоши. Мужики орали: «Би-и-

ис!» Им снова хотелось увидеть, как танцует на сцене абсолютно голая женщина. Мария плотнее запахнулась в балахон и поклонилась низко-низко, прямо по-русски. Я смотрел на ее затылок, когда она кланялась. Мне безумно хотелось прижаться губами к этим жарким черным волосам, к детски беззащитной шее.

Станкевич не произнес ни слова. Я ждал, что он выкатит на Марию целую бочку восторгов, упреков, ужасов, исхлещет ее придирами, как бичами, будет обнимать, целовать и тискать! Он не произнес ни слова. И это было ужаснее всего. Мы, все трое, погрузились в машину Станкевича, и он довез сначала Марию до ее отеля. У нее еще тогда не было ее роскошной хаты на Якиманке – она снимала номер в отеле «Президент». Вернее, она наполовину с Родионом. Родион бестрепетно вкладывал свои деньги в нее. Он знал: если не вкладываешь, ничего в результате не получишь.

Только когда мы доехали до отеля, завернули к крыльцу, Родион оторвался от руля, повернулся к Марии и тихо спросил:

– Ты хоть знаешь, крошка, что сегодня произошло?

– Знаю, – тоненько ответила Мария. – Я поимела успех.

Она сказала не «у нас», а «у меня», отметил я тут же, и кровь обиды бросилась мне в голову. Я, Иван Метелица, на вторых ролях! Ну, погоди, пиренейская коза...

– «Поимела». Дура. Ну, дура. Так по-русски не говорят. Вернее, говорят, но это, видишь ли, это плохое слово. «Он

поимел ее в постели, на полу, на рояле, на подоконнике и в ванной». Трахнул, понимаешь? Трахнул. Ты дура в квадрате. В кубе. Не успех, – так же тихо, устало произнес Станкевич, глядя прямо перед собой в лобовое стекло на крыльцо отеля «Президент», – а фурор. Ты произвела фурор. Такое в мире бывает нечасто, милочка. Ты зазналась?

Мария повертелась на сиденье, изображая нетерпение. Я видел – она скорее хотела выпрыгнуть из машины, подняться к себе в номер, принять ванну, душ, кинуться на диван и замереть распластанной, без мыслей.

– Нет, я не зазналась, – сказала она, и я впервые услышал в ее голосе легкий, еле уловимый акцент. – Зазнаться – это, по-русски, воз...гордиться?..

Станкевич посмотрел на нее, как на пациентку клиники Кащенко.

– Вроде как, – сказал он. – Наподобие. Типа.

– А вы не хотите, типа, посидеть после такого фурора? – сказал я. – Возьмем сейчас пару бутылочек чего покрепче, фрукты, мясо – и – к Марии в номер...

– А вы не хотите, типа, дать мне отдохнуть? – сказала Мария. – Я сегодня, типа, танцевала в шоу «АУТОДАФЕ». И я, типа, хочу принять ванну и спать. Спать! Спать! Спать!

– Ты хочешь спать с кем из нас? – спросил Родион, сверля глазами ее грудь под черным балахоном – она набросила его поверх платья, имитируя плащ, и ей очень шел, оказывается, и черный цвет. – Кто тебе, типа, больше нравится?

Я не понимал – он смеялся, издевался или говорил серьезно. Мария вздернула носик. Подхватила сумку с одеждой и гримом.

– Мне, типа, больше нравится Метелица. Но я, ребята, сегодня занята. Я влюбилась в метрдотеля и буду сегодня спать с ним. Чао!

Дверца хлопнула. Мы оба провожали взглядом черный балахон Смерти, развевавшийся за спиной Марии, а шла она очень быстро, стремительно, почти бежала, взбегала по ступенькам крыльца и у дверей, обернувшись, помахала нам рукой и послала озорной воздушный поцелуй.

Я всю ночь проторчал у отеля. Я, как школьник-идиот, смотрел на освещенное окно ее номера – я вычислил его на девятом этаже. Потом свет погас. Я продрог в легкой куртке. Станкевич, прощаясь со мной, только спросил: «Что, бродить по Москве пойдешь? Ромео недобитый? Не сходи с ума, давай ко мне, выпьем, а то действительно двигай домой, я тебя отвезу». Я помотал головой. Ее окно сейчас для меня было важнее всего.

Рано утром, в шесть утра, когда рассвет уже залил розовым холодным молоком небо над Москвой, я не выдержал. Я рванул на себя дверь отеля. Сонная администраторша за толстыми стеклами внизу недовольно вскинула брови: кого черт несет в такую рань? Я прикинулся ягненочком. «Вы понимаете, здесь, у вас в отеле, живет артистка, с которой я вчера выступал. Она улетает сегодня в другую страну, вы понима-

ете, у нее рейс из Шереметьева в двенадцать, она уже сейчас будет вставать, она соберется и уедет, поймите, а я привез ей важные новости от ее продюсера, мы теряем время, вы же понимаете...» Я врал гостиничной даме, нагло и вместе просительно глядя ей в глаза. Я гипнотизировал ее. Я молился: Боже, сделай так, чтобы эта тетка оказалась по крайней мере доброй! Я ощутил, как мало на свете добрых людей. Злыми мир кишел. Черт, у меня не было с собой ни шоколадки, ни цветочка, приличествующих случаю. «Нет, нет и нет! – возмущенно выкатила глаза дама, и кок пышной прически над ее головой так же возмущенно дрогнул. – Никаких встреч! Еще шести нет! Такая рань, люди спят! Постыдитесь! Если вы идете к любовнице, это не...» Я вытащил из кармана стодолларовую купюру и осторожно положил на стеклянный стол перед окошечком. Другого выхода у меня не было. И других денег с собой – тоже.

Стодолларовая бумажка исчезла вмиг. Дама тонко улыбнулась. Крашенный кок дрогнул сыто, удовлетворенно. «В каком номере живет ваша... хм... артистка?..» Я номера не знал. Я никогда не бывал тут, у нее в отеле. Администраторша спросила имя, я его назвал. Дама немного покопалась в компьютере. «Девятый этаж, номер...» Цифры я услышал уже на бегу. Я уже бежал к лифту как угорелый.

Я забил, застучал в дверь ее номера всем собой – кулаками, лбом, кажется, даже локтями. Я чуть не падал ничком, на пол, от страсти, охватившей меня. Теперь я знал, каково

это – сгорать на костре любви. Что это совсем не красивые словечки. Что это – мука из мук.

За дверью сначала было тихо. Потом послышалось шевеленье, шуршанье. Потом маленькие быстрые ножки подбежали к двери, и оттуда я услышал медленное, сонно-тягучее: «Да-а-а-а?..»

Это была ее манера. Я потом узнал ее. Привык к ней. Это ее тягучее, сонное, как сиеста, жарко-испанское: «Да-а-а-а...»

– Мария, открой. – Я задыхался. – Открой, Богом прошу!  
«Интересно, она католичка или православная?.. Православная – откуда?.. От верблюда?.. У нее же отец тоже испанец, Родька говорил...»

Замок клацнул. На пороге стояла она, заспанная, со спутанными смоляными волосами, с запекшимся во сне ртом, совершенно голая. Она терла глаза рукой. Не видела меня спросонок. Я схватил ее в руки, как хватают драгоценную птицу, которую подстерегают в засаде всю жизнь, и вот она сама в руки слетает, яркая, светящаяся всеми перьями, чудесная, родная.

# ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ВТОРОЙ. СЕГИДИЛЬЯ

Вы будете использовать ее? Будем. Она благодатный материал. Другой такой попадает в руки крайне редко.

Как вы намереваетесь ее использовать?

По прямому назначению. Она женщина. Этим все сказано. Она женщина молодая, невероятно красивая...

Ну это вы уже загнули, шеф!.. Есть и красивее...

...не перебивайте. И очень опытная в любви. У нас есть сведения.

Откуда вы знаете об ее опыте? Вы спали с ней?

Не задавайте глупых вопросов. А если спал?

Не верю. Она не позволила бы себе...

Не верьте, это ваше дело. Я перехожу к существу вопроса. Она необучена, ее надо обучить. Нам выгодно, чтобы эта женщина работала на нашей стороне. Она принесет нам немалую пользу.

А если ее переманит другой лагерь?

Если это произойдет, я сам убью ее.

И вам ее не будет жалко? Все говорят – это жемчужина танца двадцать первого века. Вы убьете национальное достояние.

Я делаю то, что нам с вами необходимо, поймите. Я вижу

большую выгоду от ее работы на нас.

Что вы собираетесь ей поручать?

Это другой разговор. Сначала ее надо научить. Потом уже поручать и приказывать. Технология тут одна, она не поменялась с эпохи Клеопатры, Лукреции Борджиа, Джульетты Гвиччарди, Мата Хари, Цинтии, Кошки. Эта женщина будет ложиться в постель с военачальниками, командирами, шефами террористов, с главами теневых группировок, с олигархами, с правителями, может быть, даже с президентами и королями. И выпытывать у них те сведения, которые они могут рассказать, под хмельком, в угаре любви, сумасшедше красивой и искусной в любви женщине, ночью, под одеялом. Или без одеяла, как вам будет угодно.

Глупости. Вы думаете, военные или коммерческие тайны мужчины, даже под хмельком и в угаре страсти, так легко выбалтывают своим женщинам? Ведь им, с кем она будет ложиться, доподлинно будет известно, что эта женщина – шлюха.

Эта женщина – великая артистка. И им будет известно, что они ложатся в постель с великой артисткой. И им будет это очень лестно.

... ..

Она хорошо помнит, как все было там, в Монреале. Они с Иваном спустились по самолетному трапу, и она перевела

дух. Созерцание той катастрофы, в Шереметьеве-2, подействовало на нее страшно. Тогда, в грозу, их самолету все-таки разрешили вылет, благо стихия успокаивалась, и кое-как они взлетели. Мария весь полет до Монреаля, все десять часов в самолете, продрожала как заяц. Чуть только «Боинг» снижался или его трясло в воздушных ямах, она вцеплялась в подлокотники, стискивала пальцами колени, прижимала ладонь ко рту, боясь закричать от страха. Иван сердито смотрел на нее: что за причуды! Это что-то новенькое в нашем репертуаре, Мара, ты же всю жизнь летаешь по небу как птичка, ты же, моя прелесть, всегда была такая смелая! Ну нет у меня с собой успокаивающих таблеток, нет! Только твои обожаемые соки! Заказывала, что ж не пьешь?.. Устыдившись, она выпила прямо из коробки сок, склонила голову Ивану на плечо и задремала.

А потом, выйдя из железного бочонка, половину суток болтавшегося между небом и землей, она почувствовала себя так, будто родилась во второй раз. Какая глупость! Неужели теперь она так и будет летать, трепеща, как осиновый лист? После пережитого воздушного страха передача этого паршивого пакета Станкевича каким-то казалась ей чем-то незначашим, мелким, чепуховым. Будто выбросить в пепельницу окурков. В урну – грязную салфетку.

В здании монреальского аэропорта она без труда нашарила глазами стойку бара. «Ах, Иван, я так перенервничала, мне надо выпить». – «Выпить? С каких это пор ты у меня,

Мара, стала пьяницей? – Он измерил ее насмешливым взглядом. – В таком случае я тоже выпью. Вместе с тобой. Вон бар, пойдем?» Она стрельнула глазами туда, сюда. Вскинула голову. «А вещи? Мы что, потянем туда, к бару, наши чемоданы? Стой здесь с вещами. Я быстро... мо-мен-таль-но, так это по-русски?..» Он не успел ей ничего сказать. Она упорхнула. Черная сумочка болталась на плече на тонком ремешке.

Она подошла к стойке. Так и есть, все, как сказал эта морда Станкевич. Негритянка-барменша. Мария обворожительно улыбнулась толстой черной тетке. Внезапно она напонила ей ту, трактирщицу в Сан-Доминго. «Сто кальвадоса... и ломтик лимона». Она внимательно следила, как барменша, раззявив в широкой улыбке черногубый рот, наливает в стакан прозрачный, как топаз, кальвадос. Барменша сделала незаметный знак рукой – подняла руку розовой обезьяньей ладошкой вверх, чуть согнула пальцы. От аэропортовской толпы отделились двое. Подошли к ней. Непроницаемо темные очки скрывали глаза. Марии стало не по себе. «Это сейчас все кончится, это все скоро кончится», – сказала она себе, щелкнула замком сумки, вытащила сверток. Что в нем? Наркотики? Оружие? Бомба? Уран-236? Документы? А может, просто деньги, просто банковские чеки, векселя, пачки долларов? Она так и не развернула сверток, даже в туалете «Боинга» – боялась. Если Станкевич будет приказывать ей передавать такие свертки своим людям во всех аэропортах

всех городов мира, куда они с Иваном летают с выступлениями, – она уйдет от этого гадкого продюсера. Он занимается черт-те чем. Он опасный тип. Надо... как это по-русски... делать от него ноги?... Мало ли концертных организаций! Мало ли продюсеров – и в Испании, и в России, и в Америке! Мало ли театров танца! Да если она захочет, она уйдет в Имперский балет Майи Плисецкой! Да если она захочет, она сделает свой театр, театр Марии Виторес, сама! Она уже созрела для этого! Уже... выросла... Маленькая девочка, любящая танцевать в патио – внутренних двориках – в Бильбао и Мадриде, уже выросла...

Мужчина протянул руку. Черные очки блеснули. Мария вложила сверток ему в руку. Что надо теперь делать? Улыбаться? Сказать несколько любезных незначущих фраз по-английски? Поворачиваться – и бежать прочь сломя голову? «Вы одна?» Английский мужчины, взявшего сверток, прозвучал холодно и высокомерно, как из уст английского короля. «Нет, меня ждут», – ответила она тоже по-английски, так же надменно. «Жаль. Мы бы пригласили вас на аперитив», – подал голос второй, в точно таких же темных очках, чуть пониже ростом. Она заставила себя улыбнуться. «К сожалению...» Черная барменша усмешливо разглядывала ее, ощупывала глазами с головы до ног. Мария наклонила голову и, повернувшись, быстро, быстро пошла к Ивану, который в отдалении ждал ее около груды чемоданов.

О этот вечный груз! Артист – вечный бродяга! Они вози-

ли с собою повсюду вороха ее сценических тряпок, ибо они сами себе были – фирма, сами себе были – театр на колесах. Сами себе, а львиную долю денег, Мария подозревала, по договорам все равно получал Станкевич.

«Родион – не простой продюсер, – билась в ней мысль, пока каблучки, как в танце сапатеадо, в испанской чечетке, стучали по гладкому полу аэропорта. – Родион – сволочь. Он та еще стерва. Он занимается черт знает чем. Черт-то знает, а я?! Я-то тут при чем?!»

«Господи, как ты долго! – Иван сморщил лицо, как разобужденный младенец. Все мужчины дети, подумала она раздраженно. – Ну и как канадская выпивка? Лучше русской? Или испанской?..» Мария подняла руку и погладила его по загорелой щеке. «У тебя уже щетина отросла. Отличный кальвадос. Просто огненный. Я взбодрилась». – «А почему же от тебя не пахнет водкой?» – удивленно спросил Иван, наклоняясь к ее губам, чтобы поцеловать ее. Она ответила на поцелуй, ожгла Ивана черными кострами огромных глаз. «Потому что я закусила лимоном».

Кальвадос в тонком стакане и жалкий ломтик лимона на блюде так и остались там, на столике в баре. Она так спешила, что даже не выпила. Иван не должен знать, что она делала там. Благодарение Богу, если он не увидел ее возни с этими мужиками в темных очках. А если увидел?

«Ну что, в гостиницу?.. Или к профессору Майхановичу в гости?.. Майхановичи, между прочим, нас ждут...» У нас

заказаны номера в отеле «Монреаль», ты же сам заказывал, с улыбкой сказала Мария, я после этого перелета как пьяная и без кальвадоса.

И они поехали в гостиницу, взяв такси прямо у здания аэропорта; и Мария смотрела на ясное, синее, без единого облачка, канадское небо и думала о том, что эти двое, в черных очках, наверняка знают, кто она, и, если она им понадобится, чтобы с ней передать что-либо в таком же поганом свертке Станкевичу в Москву, они без труда найдут ее – явятся к ней на спектакль, да и только.

Они ехали в такси по Монреалю, и повсюду Мария, поворачивая голову, и там и сям, видела их с Иваном афиши, расклеенные по городу: «IOANN AND MARIA VITORES. ARS MUNDI», «MARIA VITORES AND FAMOUS IOANN», «THE GREATE FLAMENCO. MARIA AND IOANN»... Она обернула лицо к Ивану. «Любимый, – проговорила она тихо, и у нее сильно билось сердце, – любимый, ты будешь плакать обо мне, если я умру?»

# КИМ МЕТЕЛИЦА

Я все исполнил чисто – там, на углу Харитонья и Садово-Черногрязской. Чисто – не подкопаешься. Ушел дворами, как и хотел. Славка ждал меня в машине. Я плюхнулся на сиденье и выдавил:

– Теперь вези к Аркадию. Расчет сразу. И налом.

Славка вырулил на Садовое, рванул в сторону «Курской». Насвистывал модную песенку Пугачевой: «Будь или не будь, сделай же что-нибудь... Будь или не будь – будь!» Я оборвал его:

– И ты не боишься так шуровать по Садовому? Полчаса спустя! А вдруг заловят?

– Ништяк, не остановят, – процедил сквозь зубы Славка, – я во дворе когда стоял, номер поменял. Ловкость рук и никакого мошенства. Скоро технологии повысятся. Будем брать с собой на дело аэрограф и перекрашивать, к хренам, машину в тихом месте. В таком вот закутке, где я тебя поджидал. Нитра сохнет мгновенно. Бац – выезжаешь – менты ищут красную машину, с одним номером, а едет синяя, с совсем другими цифрами на заднице. А? Прикол?

– Прикол, – согласился я. – Еще какой прикол. А как ты думаешь, будут когда-нибудь летающие машины?

– Будут, – со знанием дела кивнул Славка, сворачивая с Садового кольца в переулки, выруливая на Таганку, проби-

раясь на шоссе Энтузиастов. – Еще бы не будут! Летающие машины – это, брат ты мой, дело уже недалекого будущего. Вся проблема в том, что сталкиваться они будут почему зря, биться, как яйца. В каких воздушных коридорах они будут летать? Ведь они же не самолеты! Удобно, да, по земле железные букашки ползать не будут... зато сталкиваться лбами будут частенько, и нам на головы железки будут падать... бам-с, приятель, и тебя – нет!

– И на земле катастрофы бывают. И поезда в крушенья попадают...

– Бывает, все бывает! И у девушки беременность бывает! – запел Славка, раскачиваясь за рулем из стороны в сторону, как старый еврей в синагоге. – Аркадий нам с тобой сколько обещал отвалить?

– Пятак.

– Что ж, негусто. Вот Помидор тоже чисто сработал, ну позавчера, у английского посольства, из винтовки с оптическим, стрелял из хорошего места, сволочуга, из дома напротив, сильно подготовился, умник, все рассчитал, – и договорился за двадцатник. А нам с тобой пятак на двоих – по две с полтиной на рыло – ну это ж разве деньги, браток? Для Москвы это не деньги, чтобы прожить месяц-другой. У меня ж все-таки две семьи, брат. Не семьи, а семьищи! Ловелас я, ты ж знаешь... девок развел целый гарем, детей расплодил!..

– Ну ты просто племенной баран, Славка, – сказал я, сдерживая улыбку. – Ты просто библейский родоначальник. «Род

Мстислава Пирогова» – неплохо звучит?

– Недурно. – Славка рванул руль налево, чуть не врезавшись на краю тротуара в старушку с кошелкой. На шоссе был аншлаг. Машины катили впритык друг к другу, терлись боками, как животные на водопое. Угораздило Аркадию кинуть нас на дело в час пик. Может, оно и хорошо, в толкотне менты не скоро разберутся, что к чему. – Звучит, понимаешь, как «род Осла», «род Козла»... или «род Орла»?.. Все, ушли мы, сто процентов, ушли!

– Не говори «гоп», пока не перепрыгнул. Кати. Уже Лефортово. Все, приехали. Заворачивай во двор. Не имеет ли смысла поменять номер во второй раз?

– Имеет. Щас поставлю тачку и поменяю.

– Они у тебя, Славик, зарегистрированные?

– А то как же.

– И этот – чей?

– Много будешь знать – задница морщинами покроется.

Мы заткнули машинешку в дальний угол Аркадьева двора, между двух металлических гаражей-«ракушек». Славка поменял номер. Через пять минут мы уже сидели в роскошной, а ля царский дворец, гостиной Аркадия и уже, откидываясь на спинки кресел, с наслаждением пили все, что щедрый хозяин выставил на стол: кьянти, привезенное из Флоренции, коллекционное «Перно», классический «Абсолют», темно-красную испанскую «роху». Закуски из холодильника были вывалены горничной, по приказу хозяина, самые раз-

нообразные: от сыра с плесенью до горок зернистой икры в фарфоровых антикварных вазочках. От фруктов стол лопился. Тонко нарезанные севрюжка и буженина пахли возбуждающе. Славка налегал на апельсиновый сок. Видимо, он переволновался, глотка пересохла, пить хотел парень.

– Ну что, орлики, – Аркадий сыто улыбнулся, наклонил голову, и я увидел смешной светлый хохолок, будто золотистый петушиный гребешок, у него на стриженном затылке, – поздравить вас? Или еще рано?

Он имел в виду деньги.

Заказ надлежало оплачивать.

Я прекрасно знал, что Аркадий Беер – жмот.

Он только прикидывался щедрым.

– Поздравить, поздравить, – залопотал Славик, налегая на буженину, отправляя в рот вилкой, прямо с тарелки, сразу три ломтя, зажевывая добрых полстакана «Абсолюта», – еще как поздравить, Аркаша!.. прямо со страшной силой поздравить... Ты же сам видишь – все о'кей...

– Значит, поздравить, – медленно, тяжело произнес Аркадий, следя, как Славка пьет и ест. – Ну что ж. Я выдам вам гонорар. – Он положил крепкую, красивой лепки, как у артиста или пианиста, руку на грудь: должно быть, там, под лацканом, во внутреннем кармане, лежали наши деньги в конверте. – Но это еще не все. Я приготовил вам сюрприз. Я приготовил вам подарочек. Прелестный подарочек, между нами говоря. Да это подарочек для нас всех. Если этот подарочек,

правда, еще будет себя хорошо вести. Ну да мы его научим, я оптимист!

Славка оторвался от буженины и икры, которую, уже зарозовев и завеселев от выпивки, беззастенчиво зачерпывал столовой ложкой. Уставился на Аркадия непонимающе.

– Какой такой подарочек, Арк?..

Аркадий хлопнул в ладоши. Горничная испуганно вбежала, потом понятливо скрылась. Тут же вошел дюжий бодигард, закинул за спину руку, сделал знак другому, стоявшему за дверью. Раздались торопливые шаги, сдавленные ругательства. В гостиную ввели, вернее, вволокли упирающуюся девушку. Смоляные волосы были спутаны, висели вдоль щек, струились по груди. Черные огромные, как торфяные озера, глаза испепеляли нас гневом, яростью. Губы закушены. Я быстро поискал глазами следы побоев. Не нашел. Гады, бить женщину! Это было бы слишком низко. Впрочем, Аркадий знал массу болевых приемов и бить тоже умел – в живот, в печень, под ребро, не по лицу, лицо такой красотке надо было сохранить, конечно, хоть с лица воду не пить, как известно. Девушка повернула голову, подняла лицо навстречу мне – и я чуть не вскрикнул. Вовремя удержался. Сдержанность украшает мужчину, Ким, ты знаешь это.

Это была Мария.

Мария Виторес собственной персоной.

Партнерша и девушка моего беспутного гениального Ивашки.

Мария, вызвавшая во мне дикую страсть, которую я целенаправленно убивал в себе, растаптывал, как мог.

Я не ходил на ее концерты. На ее спектакли. На ее громкие скандальные шоу. Не смотрел телепередачи с ней и о ней. Закрывал глаза, проходя мимо афиши с ее кроваво намалеванным именем. Не замечал ее рекламных, во всю стену, фотографий в метро, на перекрестках, на вокзалах. Ее раскручивали по первому разряду, а я в упор не видел ее! Потому что я влюбился в нее, а это надо было пресечь в корне. Сын! Сын танцевал с ней. Сын любил ее. Сын владел ею. Это была территория чужой любви. И я не имел никакого права на вход туда. Тем более – на владение чужой собственностью. Тем более – на похищение ее.

– Ким Иванович, – сказала Мария Виторес побелевшими губами, – здравствуйте... Вы что тут...

– Вы знакомы? – Белые стеклянные глаза Аркадия переползли с Марии на меня. – Это меняет дело. Впрочем... – Он резко обернулся ко мне. Вертел в руках позолоченную чайную ложечку из сервиза королевы Марии-Антуанетты, купленного на аукционе «Филиппс» в Париже. – Давно ты ее знаешь?

– Недавно. – Рот мой пересох. Мария пристально, из-под спутанных волос, смотрела на меня, прожигая взглядом. – Недавно, Арк, клянусь. Она танцует с моим сыном, и Иван...

– Иван тебя с ней познакомил, понятно, так. – Аркадий сощурился. Улыбка жестко прорезала его щеки. – Звезда, ту-

да-сюда. Запал, что ли?

От его глаз-буравов невозможно было укрыться. Я собрал в кулак всю свою волю. Всю старую спортивную злость. Заставил себя презрительно, весело улыбнуться. Даже хохотнуть.

– Еще чего, Арк. Охота была. У меня ж баба молодая, я ж недавно развелся и женился по любви, между прочим. Клин клином не вышибают. Ты ж понимаешь, у нас, у мужиков, так. У меня на таких, черных галок, – я сглотнул слюну, – не встает. Мне беленькие курочки нравятся. Белокурые бестии.

Моя жена была белокурой, и Аркадий это знал.

– Бестии, – задумчиво сказал Аркадий. Бодигарды, втащившие Марию в гостиную, крепко держали ее за локти. – Эта – еще та бестия. Но мы ее все равно сломаем. Черная галка, говоришь?.. Будет черная орлица. Будет пикировать с небес на врага. И когтями вырывать из него душу.

Когтями вырывать душу? Что он имел в виду?

Аркадий встал из-за стола. Походкой офицера подошел к Марии. У него и впрямь была офицерская выправка – никакой расхлябанности, никакой мафиозной избалованной вальяжности, подобранность, строгость, надменность. И эти белые злые глаза под чистым и высоким, таким благородным лбом. И эта офицерская чистенькая, аккуратная стрижка, только сейчас из юнкерского училища, из артиллерийских казарм, и прямо на плац, пред светлые очи государя-императора: «Ура! Ура! Ура-а-а!»

– Посмотри, как я работаю, Поучись, – бросил Аркадий мне через плечо. Сделал знак бодигардам, они отпустили девушку, отшагнули назад. Аркадий взял ее за подбородок. – Ну как? Образумилась, испанская курица, или снова будем говорить на разных языках? Я на русском, ты на испанском? Ты русский понимаешь, гадюка? Или ты понимаешь только это?

Он сделал незаметное движение. Я был прав, он работал чисто. В какую болевую точку на ее совершенном теле ударил он? Я не смог заметить. Она закусила губу от боли, и ее подбородок прочертила тонкая красная полоса крови.

– Дрянь, – сказала Мария по-испански. Аркадий усмехнулся и пожал плечами.

– Не понимаю. Теперь я не понимаю тебя.

Я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не выскочить из-за стола и не вонзить тупой столовый нож Аркадию в шею. Славка утер рот салфеткой, рыгнул. «Ну и хороша девчонка», – прошептал.

– Прекрати вливать в себя спиртное и жрать, – тихо сказал я ему, – видишь, Арк устроил для нас веселое шоу. Предлагаю поглядеть.

Лучше бы у меня выкололи глаза. Лучше бы сердце вырвали. Я убиваю за деньги людей, да. Счастлив мой Бог был, да, но до сих пор мне заказывали только мужиков. Баб мне не заказывал никто. И Аркадий тоже. Я еще никогда не убивал женщину. Я никогда не бил ее. Больше всего на свете я

хотел сейчас убить Аркадия. Или так врезать ему, чтобы он надолго отключился.

– Ты дрянь, – сказала Мария по-русски, ставя на него черную печать расплавленной смолой глаз, – слышишь, ты дрянь. Я никогда не буду делать того, что ты требуешь. Я уже сделала однажды то, что мне приказали. Все. Больше не буду никому подчиняться. Хочешь, убей меня!

Вот теперь я видел, что она испанка. Она высоко, гордо подняла голову. Отбросила со лба пряди волос. Ее лицо внезапно озарилось светом, будто бы она увидела, ощутила нечаянную радость. Легкая улыбка мазнула по припухшим вишневым губам. Щеки заиграли румянцем. Она подбоченилась, выставила ногу вперед, и я видел, я ясно видел – она дразнит Аркадия, она вызывает его! Она издевается над ним! Она смеется над ним!

Я видел светловолосый стриженный затылок Беера. Затылок напрягся. Затылок свело бешенством. Я понял – еще миг, и Аркадий ударит ее так сильно, что этот удар может оказаться для Марии последним.

И я вскочил, как укушенный.

И я схватил в руку большую хрустальную рюмку, доверху полную водкой «Алтайской», заказанной Аркадием в самом Барнауле и доставленной в Москву на его персональном самолете, и схватил в другую руку бокал, и быстро, слепо плеснул в него немного красной «рохи», и быстро подошел к ним, смотревшим друг на друга, как два зверя.

– Вас никто не собирается убивать, сеньорита, – галантно сказал я, следя за голосом – чтобы не задрожал, не сорвался. – Вас тут будут любить. – Я сделал усилие и повернулся к Аркадию, и подмигнул ему. Я презирал себя, я хвалил себя: «Да, Ким, ты делаешь все правильно. Ты все правильно делаешь, Ким». – Первый, кто вас будет любить, – это господин Бе...

– Аркадий, – перебил меня Аркадий. Верно, ей не надо знать фамилию шефа. Я чуть не прокололся. Пятьсот минус из гонорара.

– Я вас уже люблю, – сказал я нагло и радостно, и сам поразился – каким правдоподобным сумасшедшим карнавальным весельем звучал мой голос. – А третий, кто будет любить вас, это...

Я не успел оглянуться на Славку. Аркадий взял Марию под мышки обеими руками. И, кажется, слегка приподнял от пола.

Она не шевелилась. Продолжала молча, прямо смотреть на него. Я думал, это будет унизительно для нее. Нет, скорее это было смешно для него. Он держал ее как куклу, как ребенка, которого хотят посадить на горшок.

– Ха-ха-ха, – сказал Аркадий отдельно, – да ты, крошка, оказывается, легкая как перо. А выглядишь рослой, каланчой. Жрешь мало, да?!

Мария молчала. Я глупо стоял с бокалами в руке.

– Отпусти ее, Арк. Я хочу выпить с ней.

Он опустил ее на пол. Я втиснул ножку хрустальной рюмки в ее безвольно повисшую руку.

– Держите, – сказал я по-прежнему весело и нахально, – ну, держите же! Что вы спите на ходу?!

Я увидел, что на ее скуле, около уха, темнеет, расплывается большой синяк. Значит, он все-таки бил ее по лицу.

Она взяла рюмку. Поглядела на водку.

– Дайте мне ваше вино, – тихо произнесла она, глядя на бокал «рохи» у меня в руке.

Я поменялся с ней бокалами. Легонько стукнул рюмкой о ее бокал. Аркадий смотрел на нас с ненавистью. Его белые глаза светились, как у василиска.

– За любовь, – нагло сказал я, глядя Марии в глаза.

– За любовь, – сказал она и тихо добавила по-испански:  
– Per amor.

Когда мы выпили, я кинул хрустальную рюмку за спину. Она разбилась о каменные плиты роскошного пола Аркадье-вой гостиной. На мелкие кусочки.

Мария мгновенье смотрела на свой бокал, где еще плескалась красная «роха». Затем одним глотком допила вино, размахнулась и тоже швырнула бокал об пол. Осколки брызнули, засверкав, как звезды, в свете антикварной люстры, конец девятнадцатого века, Франция, из коллекции наследников Полины Виардо, прямо на безупречно отутюженные брюки от Фенди, на башмаки от Армани неподвижно стоявшего Аркадия.

# АРКАДИЙ

Я был взбешен.

Я никогда не бывал так взбешен, когда у меня лопались счета в зарубежных банках. Когда по моему приказу не убивали того, кого нужно было убить. Когда неловкий поделщик губил на корню выношенное годами дело.

Я не был так взбешен, когда из подожженного мною административного здания, где сгорели все компрометирующие меня и систему, созданную мной, бумаги, все дела, заведенные на меня, все доносы и наблюдения, ушел целым и невредимым один-единственный человек, знаток, свидетель, хранитель и составитель бумаг, и, спасаясь, унес с собою и сохранил все копии. Я решил проблему. Я самолично убрал человека, тет-а-тет, и это принесло мне, кроме морального удовлетворения, еще и охотничью радость мужского поединка.

Сейчас я был взбешен по-настоящему впервые в жизни.

И я узнал вкус бешенства.

И я хотел скорее взорваться. Чтобы осколки моего бешенства разнесло взрывом. Чтобы дать выход накопившейся слепой и глухой ярости. Чтобы уничтожить. Растоптать. Победить ту, что вызвала во мне этот приступ умалишенья.

– Ты, – сказал я, стоя посреди хрустальных осколков, наступая на них ногой, и из-под моей подошвы донесся противный хруст, – ты, коровья лепешка. Ты, фиглярка черто-

ва. Я ж покажу тебе, что такое коррида по-русски. Ты поглядишь сейчас... бой быков, дура...

Я, не осознавая, что я делаю, схватил ее на руки и кинул себе на плечо, как кидают убитую добычу, дичь, подстреленную косулю или козу. Какой она оказалась сильной! Жилистой! Она извернулась, ударила меня кулаком по спине, вцепилась зубами мне в плечо, я заорал, и она сползла по мне на пол, на голые керамические белые плиты, выписанные мной из Италии, из мастерской «Quattrocento». Я не помнил себя. Я ринулся на нее, навалился на нее, повалил ее на пол. Прижал ее спиной к холодной плитке. Лег на нее.

– Ты, – прошипел я, лежа на ней, – ты сейчас узнаешь, что такое настоящий танец. Как танцуют в России. Как танцуют, вздергивают ногами, кричат от боли. Ты думала, танец – наслаждение? Танец – это подчинение. Танец делают мужчины. И бабы танцуют под их дуду.

Мои руки дернули, сорвали с нее юбку. Мои скрюченные бешеные пальцы разорвали застёжки на брюках. Бодигарды стояли у двери, как вкопанные – каменные стражи. Она билась подо мной, вырывалась, и это было одновременно и безобразно, и соблазнительно. Она застонала – стекла впились ей в кожу голой спины. Или это я уже вошел, вонзился в нее, как их эта чертова наваха?!

Когда я раздвигал руками ее сильные, стройные, напрягшиеся смуглые ляжки, я понял, как она сильна. Я понял, почему она так вынослива, так бесконечно могла танцевать,

пребывать на сцене, когда других танцовщиков уносили за кулисы, бывало, с сердечными приступами после ее знаменитых шоу. Я понял, что она настоящая duende – сумасшедшая, охваченная пламенем. Она боролась со мной и сторала в этой борьбе, как на костре. Аутодафе. «АУТОДАФЕ», черт побери, так, кажется, называлось одно из ее супершоу?!

И я не понял, как, когда я вошел в нее; как забился в ней; как, на глазах двух своих телохранителей и двух киллеров, чисто выполнивших мой заказ – Славки Пирогова, застывшего за столом с вилкой в руке, на которой дрожал ломтик осетрины, и Кима Метелицы, застывшего перед нами, лежащими на полу, – я насиловал, насиловал, насиловал эту женщину, которая не была женщиной, о нет, которая была ведьмой, была ветром, была неизвестной мне необоримой силой, а я хотел заставить ее служить себе, – а она по рождению не была прислугой, а была свободно летящей птицей.

– Ты! – крикнул я, быстро, сильно прокалывая ее собой. – Ты, танцуй! Танцуй подо мной! Танцуй, девка, ну же, ну же, ну!..

Я схватил ее за щиколотки и бросил ее ноги себе на плечи. Я услышал, как мой киллер Ким Метелица невнятно, словно захлебнувшись водкой, словно хотел, наклонившись, блевать, сквозь зубы пробормотал: «Querida».

– А вы, быки, что стоите! – Я чувствовал, как ее пятки бьют меня по спине, как ее ногти вонзаются мне в затылок. – Бандерильи в руках матадоров! Коррида началась!

# МАРИЯ

Я услышала, как он крикнул – им или мне? – рьяно, дико: «Коррида началась!»

Я слышала хрипкое дыхание этого человека надо мной. Я видела над собой его задранный подбородок.

Я не видела его глаз.

Я, пребывая здесь, у него в доме, поняла лишь одно: они хотя сделать меня своей вещью, и жестокая игра со мной – это лишь способ, прием заставить меня подчиниться им. Знал ли он Станкевича? Были ли они в паре? Кого они хотят сделать из меня?

Я уже догадывалась, кого.

Почему – именно – меня?!

Лежа под ним, задыхаясь, я вспоминала всех мужчин, которым глядела в лицо снизу вверх. Я молода; у меня их было не так много. Я вспомнила того, с кем я была впервые, и резкая, острая боль разрезала меня пополам, как нож режет жареное мясо. Я для них – мясо; я для них – вещь; я для них – мясо, вещь и женщина. Женщина не может станцевать шедевр сама. Она может станцевать только волю мужчины, избравшего ее.

Они думают так. Они! Думают! Так! Они – не мачо!

А я – маха?! Ты – маха, querida?!

Пиренеи. Мои Пиренеи.

Франчо. Мой Франчо.

Гадалка. Моя гадалка.

Та старая цыганка, раскладывавшая старые пожелтелые карты в пещере, где ты? Лола тебе в подметки не годится. Я что, сама должна нагадать себе судьбу?!

И какая же она у меня, моя судьба? Такая же красивая и несчастная, как я?!

Хриплое дыхание. Боль. Тяжесть. Я задыхаюсь. Я не хочу.

Я счастлива. У меня есть мой Метелица. У меня есть мой неподражаемый Иван.

Иван – узнает?!

Никогда. Он не должен этого знать.

Женщина умеет скрывать. Женщина – это пещера. Темная пещера, и за скалами, в узких лазах хранятся тайны, которые никогда, никогда не увидят люди при свете дня.

Даже если я стану той, кем они хотят меня сделать, никто и никогда не узнает ничего.

... ..

Он сменил кнут на пряник. Он услал всех бодигардов, расплатился с Кимом и Мстиславом, привел себя в порядок, даже извинился. Он сказал: «Я напился водки, она ударила мне в голову, простите». Он перешел с ней, распятой им на полу, на «вы». Он сам провел ее в ванную, чтобы она смогла принять душ и расчесать волосы. Он усадил ее в кресло эпохи

кардинала Мазарини, поднес ей бокал хорошего коньяка и хорошую сигарету на подносе, сам щелкнул зажигалкой у ее рта. Он не успел ее поцеловать или укусить. Она, лежа на полу, отворачивалась от него и сжимала губы и зубы. Он следил, как она пьет, курит, сидит перед ним в кресле, заложив ногу за ногу, презрительно смотрит на него. «Смотри, смотри, – думал он, глядя на нее без улыбки, – ты слишком яркая жар-птица, чтобы тебя отпустить просто так. Я все равно исполню с тобой, что задумал».

Он говорил ей об изменившемся мире. О том, что пирог пространства разрезается и делится уже по-иному, нежели раньше. Что время великих сражений умирает, а бог смерти остается жить и требует новых – иных – жертв. Каждый сражается за свое, кровное. А врет себе и другим, что сражается за великую идею.

Он подлил Марии в бокал коньяка. Налил и себе. Поднял плоский темно-зеленый бокал. Прищурил один глаз, посмотрел на нее. «Вы знаете, Мария, смерть – это гипноз. Не смотрите в глаза Танатоса. Тайный слоеный пирог не разрезать. Если я вам скажу, что я сам – Танатос, вы не удивитесь?»

«Нет, – сказала Мария, отпивая из бокала коньяк. – Я уже ничему не удивлюсь. Вы сильный мужчина. Вам необходимо направлять свою силу. Лепить из нее кубики и шары. Бомбы и пули. Вам это приносит деньги, не так ли? Как вы уничтожаете своих врагов? При помощи яда, кинжала и пули, как во времена Цезаря Борджиа и Равальяка? Или вы знакомы

с другими способами? Как вы, вы сами, господин Танатос, ведете вашу войну?»

Он не улыбнулся. Ни единый мускул у него на лице не дрогнул. Мария смотрела на светлый золотистый бобрик его коротко остриженных волос, на родинку в углу рта, напоминающую кошачью царапину. «Я веду ее по своим правилам. Я зарабатываю на ней большие деньги. Но не думайте, что она только личная, моя война. Я веду ее против тех, кто рискует, оступившись, отдав неверный приказ, сбросить всех нас в тартарары. Вам ведь не очень-то хочется в тартарары? Нет? – Он опрокинул остатки коньяка себе в глотку. Поставил бокал на серебряный поднос. – Почему мой киллер назвал вас каким-то странным испанским словом?» Губы ее слегка дрогнули. «Querida, по-русски – „дорогая“, „милая“, так Иван зовет меня. Когда в хорошем расположении духа. Возможно, он так называл меня в присутствии отца». Он пристально посмотрел на ее губы, в ее глаза. Она достойно встретила его взгляд. «И долго вы с ним знакомы?» – «С кем?» – «Со старшим Метелицей». Она подумала, наморщила лоб. «Немного времени. Недели три, не больше. Иван меня с ним не знакомил раньше».

Часы в гостиной пробили поздний час – медные низкие раскаты перешли в хрустальные, тонкие, нежные, звезды звона повисли в пустоте, стихли. Зачем он спрашивает ее о Киме? Ким – отец Ивана, она знала только это. Теперь она узнала еще и нечто другое. Ким – заказной убийца. Ким –

работник властительного босса. Она будет тоже работницей властительного босса?

«Кто вы такой, Аркадий?» – спокойно спросила она, откинувшись в кресле. Она успела замазать синяки на лице тональным кремом в ванной. Он поразился ее самообладанию. Ну да, она же танцовщица, это значит – актриса, но он никогда бы не подумал, что умеет так хорошо играть. Тем лучше. Этот ее талант – умение держать себя в руках, умение перевоплощаться – тоже пригодится. Он вспомнил, как ее тело билось под ним. Волна вожделения, еще более яркого и острого, накатила на него, чуть не скрутила его. «Я? Я хозяин театра теней. Вы разве еще не поняли?» Ей казалось – он смеялся.

«Что я должна делать, чтобы... – Она помолчала. Повертела в руках пустой бокал. – Чтобы вы меня не убили?»

«Работать на меня».

«В чем будет заключаться моя работа?»

«В собирании и передаче разнообразных сведений, которые мне нужно будет или собрать для себя, или передать по назначению».

«Что это будут за сведения?» Как она ни старалась не показать виду, она побледнела.

«Вам скажут об этом. Главное – вы должны будете уметь говорить с нужными мне людьми на понятном им языке».

«Что это за язык?» Она бледнела все больше.

«Я, по крайней мере, знаю только один язык, которым вла-

деет женщина, чтобы добраться до секретного сейфа внутри мужчины и умело открыть его».

«Я вас не понимаю». Ее лицо стало цвета белой шелковой гардины над окном в гостиной.

«Язык постели».

Он ждал, что она в возмущении вскочит с кресла, снова закричит: «Сволочь! Не буду! Никогда не буду! Лучше убей!» Она молчала. Прямо, расширив свои огромные, как размахнувшиеся крылья махаона, черные глаза, смотрела на него.

Наконец она разлепила губы. «И вы... вы будете мне платить за это? Да?»

«Резонный вопрос. Конечно, буду. За любую работу надо платить. За вредную и опасную – вдвойне. И даже втройне. Вы не будете обижены... querida».

Она не опускала голову. Она не говорила ничего. Он сверкнул глазами.

«Вы сколотите состояние, пока вы живы и работаете у меня».

«Меня не интересуют деньги», – тускло, ровно произнесла она. Он ждал этих слов.

«А что вас интересует? – Он чувствовал, как у него под брюками вспухает, растет и вырастает безумный зверь, неукротенный, жаждущий этой молоденькой волчицы, так спокойно сидящей в кресле перед ним. – Мужчины? Виллы за границей? Драгоценности, украшения? Так все же это

деньги, Мария. Деньги, обращенные в...»

Она перебила его.

Ее голос был так же тих, тускл и ровен, почти призрачен, ненастоящ.

«Меня интересует ребенок».

Он опешил. Изумился. Насторожился.

«Какой ребенок?»

«Мой ребенок».

«Ваш... ребенок? – У него похолодели колени. – У вас есть ребенок? Плод тайной страсти? Вы держите его... хм... вдали от света? От себя? От вашего партнера? Где он? В России? В Испании?»

«Его нет».

«Как – нет? – Он уже ничего не понимал. – Он умер?»

«Я хочу родить ребенка. Я. Хочу. Родить. Ребенка, – задыхаясь после каждого слова, сказала она. – Это все, чего я хочу. Я с ума сойду, если этого не будет. Ради этого я буду жить. Я зря просила вас, чтобы вы меня убили. Не убивайте меня. Я буду работать на вас».

# МАРИЯ

Он сказал мне: тебя надо обучить. Я заплачу большие деньги за твою учебу. Ты должна сказать своему продюсеру и своему партнеру, что та берешь отпуск на месяц и улетаешь на Канары. На Мальдивы! На Галапагосы! На Майорку! В Гренландию! В Антарктиду! На Марс! Куда хочешь!

Я не спросила его, знаком ли он со Станкевичем. Вероятность была фифти-фифти. Я уже была достаточно известна в России, чтобы он сам меня нашел, знал, кто я такая. И в то же время этот пакет, который я по приказу Родиона передала неизвестным в Монреале, до сих пор жег мне руки. Я еще не знала, чему я буду учиться; что будет заставлять меня делать Аркадий. Я знала только одно: черт связал нас всех крепкой веревкой, больно врезающейся в тело пенькой. Одной ржавой цепью черт нас связал. И мне нужно стать той, которую я никогда не была. Стать хитрой. Стать подозрительной. Стать слишком умной, чтобы перехитрить тех, кто поймал меня в сеть. Я вырвусь, я выпутаюсь из сети, сказала я себе! А сердцем так слабо верила в это, что слезы теперь на каждом шагу душили меня.

«Родион, – сказала я после выступления в Кремле, где в краснобархатной ложе, встав, подняв над головой руки, мне хлопал в ладоши сам Президент, – Родион, я слишком устала. Мне надо отдохнуть. Отпусти меня на месяцок на море,

а?»

Станкевич оторопел. Брови на его жирной роже полезли вверх. Подбородки возмущенно дрогнули. «На месяцок? А ты не переборщила в просьбе, случайно? Раньше я отпускал тебя на недельку – на Кипр, на Крит, в Геную, на пляжи Бангалура, и ты, наоборот, хныкала и стонала, что, мол, долго отдыхать, умру с тоски, соскучусь? Месячок? Не многовато ли? Я поставил ваши с Ванькой шоу-программы, между прочим, после осеннего турне по Японии – в Сиднее и в Аделаиде... потом слетаете на Тасманию, дураки, поедите винограда, там как раз второй урожай!..» Я растянула губы в улыбке. Приблизила лицо к его толстой харе. «Ты поставил точные числа выступлений в Австралии?» Он отрицательно помотал головой: нет, я только договорился, ты сама будешь выбирать удобное время! «Ну вот я и выбираю, – я обнаглела и потрепала его за толстую гладкую щеку, – я выбираю в Токио первое сентября. Красный день календаря. А Австралию – через двадцать дней. Виноград на Тасмании уже кончится?»

Я видела: он зол, но он не может мне перечить. Согласие было получено.

Оставался Иван. Иван, с его бешеным нравом, Иван, который не расставался со мной ни на один день. Он любил меня; я любила его. Как любой мужчина, кто любит свою подругу, он привыкал к моему присутствию, к моему положению рядом, он уже становился собственником, и он бесился, если я куда-нибудь уезжала одна – на день, на два, на уик-

энд к знакомым, на обучение белой магии к Лоле. Где я? Что я делаю? Не изменяю ли ему? Почему я имею право на собственное пространство и собственное время? Я не должна его иметь!

Я закрывала глаза. Иван, я была там-то и там-то... Я делала то-то и то-то... Я не делала ничего плохого... Клянусь, ничего... Он плохо верил. Он кусал губы. Он улыбался натужно. Он целовал меня так, будто давал мне пощечину. И, чтобы выместить на мне свою ревность, он тащил меня заниматься: «К станку!» И выматывал меня так, что с меня семь потов сходило. Так оригинально он мстил мне за мое отсутствие. За пребывание не с ним.

Что же будет сейчас? Как я скажу ему?

Иван, Иван... Милый... Родной... Querido...

Как я скажу, вернее, не скажу тебе о том, что...

Ты никогда не скажешь этого ему.

Ты же далеко не все сказала ему.

Ты не рассказывала ему свою жизнь – не рассказывай и дальше.

Он твой партнер. Он твой любимый. Он не священник, не исповедник твой.

И даже не твой родной отец.

Папа, где ты! Папа, почему от тебя так давно нет писем!

Ты в Бильбао? В Мадриде? С мамой? В деревне в Пиренеях? В разъездах по миру? Милый, родной папа, говорят, что пол ребенка зависит от отца: это отец, вбрызгивая в женщи-

ну струю любви и жизни, зачинает в женщине либо мальчика, либо девочку. Господи, тогда, в больнице, кого они убили во мне? Девочку? Мальчика? О, не надо, не надо, querida. Это был мальчик. Мне так хотелось, чтобы это был мальчик. Девочки так сильно страдают в жизни. Хотя наслаждение, что испытывает женщина в любви, по словам старых знающих испанок, в девять раз сильнее того, что испытывает с женщиной мужчина.

Ну и что? Вся сила женщины – лишь в этом? И ей более ничего не дано?

Отчего же залы, стадионы, дворцы так стонут от счастья, когда я, в розовом, пышном, с ворохом оборок, сильно открытом платье, в том, в котором издревле танцуют фламенко, выхожу на сцену, высоко подняв над головой руки и соединив растопыренные пальцы, победительно улыбаясь, пристукивая каблуками? Значит, мне дано что-то, чему нет имени, но что заставляет меня поверить: я не напрасно живу на свете?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.